
Лауреат Букеровской премии
МАЙКЛ ОНДАТЖЕ
Кошкин стол
PREMIUM

Кошкин стол
Майкл Ондатже

Аннотация
Майкл Ондатже. Кошкин стол
***
Отплытие
Мазаппа
Третья палуба
Австралийка
Кассий
Трюм
Генераторная
Заклятие
Дневные часы
Мисс Ласкети
Девочка
Кражи
На суше
Собачий загон
Сердце Рамадина
Порт-Саид
Две Виолеты
Два сердца
Асунта

Средиземное море
Мистер Джигс
Слепой Перера
Сколько вам лет? Как вас зовут?
Портной
Мисс Ласкети. Второй портрет
Подслушанное
Кладбище кораблей
Ключ у него во рту
Письмо Кассию
Прибытие
Примечание автора
Источники цитат
Благодарности

Аннотация

Впервые на русском — новейший (выпущенный осенью 2011 года!) роман от автора «Английского пациента», удивительного бестселлера, который покорил читателей всех континентов, был отмечен самой престижной в англоязычном мире Букеровской премией и послужил основой знаменитого кинофильма, получившего девять «Оскаров». Герой «Кошкиного стола» — не альтер эго автора, но некоторые опорные точки биографии у них совпадают: путешествие из Шри-Ланки в Англию, затем из Англии в Канаду… Трехнедельное плавание с Цейлона в Европу на лайнере «Оронсей» перевернуло всю жизнь нашего героя, прозванного Майной (говорящий скворец). Усаженный за «кошкин стол» («самое что ни на есть затрапезное место» в судовом ресторане), он знакомится с двумя другими мальчиками, Рамадином и Кассием, и со взрослыми, один другого эксцентричнее: мистер Мазаппа играет в корабельном оркестре и учит их петь блюз; мисс Ласкети швыряет за борт недочитанные детективы

и разгуливает по палубе в «голубином» жилете, карманы которого набиты живыми птицами; мистер Дэниелс заведует устроенным в судовом трюме садом и пытается ухаживать за Эмили — красавицей-кузиной Майны. Эмили же куда больше интересует Хайдерабадский мудрец из акробатической труппы «Джанкла». Но главную загадку для всех представляет узник, которого выводят на палубу лишь в полночь и в кандалах…

Майкл Ондатже
Кошкин стол

Квинтину, Гриффину, Кристин и Эсте Энтони и Констанс

Так я вижу Восток. Я вижу его всегда с маленькой шлюпки… ни огонька, ни шороха, ни звука… Мы переговаривались шепотом — тихим шепотом, словно боялись потревожить землю… Он открылся мне в то мгновение, когда я — юноша — впервые взглянул на него. Я пришел к нему после битвы с морем.

Джозеф Конрад. Юность[1]

---

[1] Примечания: 1

Пер. А. Кривцовой.

***

Он отмалчивался. Всю дорогу смотрел в окно машины. Взрослые на переднем сиденье негромко переговаривались. Можно было послушать о чем, но ему не хотелось. Там, где дорогу залило, — что случалось во время разлива реки, — он слышал плеск воды под колесами. Въехали в Форт, машина неслышно скользнула мимо здания почты, мимо часовой башни. В этот ночной час движение на улицах Коломбо почти замерло. Они проехали по Рекламейшн-роуд, миновали церковь Святого Антония, показались последние лотки с едой — каждый освещала единственная голая лампочка. Въехали на широкое темное пространство порта, где лишь вдали, у причалов, тянулись цепочки огней. Он вышел и встал рядом с теплым боком машины.

Было слышно, как в темноте тявкают беспризорные портовые псы. Почти все вокруг оставалось невидимым, за исключением того, что вырисовывалось в рассеянном свете немногочисленных серных ламп: погрузчики, тянувшие тележки с багажом, сбившиеся в кучки семьи. И

вот все они пошли в сторону трапа.

В ту ночь, когда он, ничего еще не знавший о мире, поднялся на борт первого и единственного в своей жизни судна, ему было одиннадцать лет. Казалось, к берегу примыкал целый город, освещенный лучше любой деревни или поселка. Он прошагал по трапу, глядя только под ноги — над головой ничего не существовало, — и шел, пока перед глазами не остались лишь погруженные во тьму гавань и море. Вдали угадывались очертания других судов, там постепенно загорались огни. Он стоял в одиночестве, принюхиваясь, потом сквозь шум и толчею возвратился на борт, обращенный к причалу. Желтоватое мерцание над городом. Ему казалось, что между ним и всем, что там происходит, успела вырасти стена. Стюарды уже разносили еду и напитки. Он съел несколько бутербродов, потом спустился в каюту, разделся и юркнул в узкую койку. Он никогда еще не спал под одеялом, вот разве что один раз в Нувара-Элие. Сон не шел. Каюта находилась ниже ватерлинии, иллюминатора в ней не было. Он нашарил возле изголовья выключатель, нажал; голова и подушка внезапно оказались в конусе яркого света.

Он не пошел на палубу в последний раз гля-

нуть на берег или помахать родственникам, которые привезли его в порт. Он слышал пение, воображал сперва медлительное, потом торопливое прощание с родными, происходившее в звенящем ночном воздухе. Я и сейчас не могу сказать, почему он выбрал одиночество. Может, те, кто привез его на «Оронсей», уже отбыли? В кино родственники отрываются друг от друга с рыданиями, судно отчаливает, и пассажиры жадно вглядываются в удаляющиеся лица, пока еще можно разглядеть хоть что-то.

Я пытаюсь представить, кем был этот мальчик тогда, на борту судна. Напряженно застыв на узкой койке, он, возможно, еще и вовсе не осознавал себя, этот зеленый кузнечик или крошечный сверчок, которого некая внешняя сила внезапно оторвала от дома и, не спросив, швырнула в будущее.

Он проснулся рывком — его разбудила беготня пассажиров по коридорам. Оделся, вышел из каюты. Что-то происходило. В ночи разносились пьяные вопли, их перекрывали крики команды. В центральной части второй палубы матросы пытались изловить портового лоцмана. Он добросовестно вывел судно из гавани (где нужно было искусно лавировать между островами затонувших

кораблей и старым волнорезом), а потом, празднуя свое достижение, выпил лишнего. Теперь же, похоже, не хотел сходить с борта. Пока не хотел. Еще часик-другой здесь, на вашем судне. А «Оронсей» должен был выйти в море ровно в полночь, лоцманский катер дожидался у ватерлинии. Матросы попытались было столкнуть лоцмана вниз по веревочному трапу, но, поскольку он мог упасть и разбиться насмерть, решено было заловить его в сети и аккуратно спустить. Лоцман, похоже, не испытывал ни малейшего смущения, в отличие от представителей судовой компании «Ориент», которые стояли на мостике в белых кителях и белые от бешенства. Когда катер отчалил, пассажиры закричали «ура!». Гул двухтактного двигателя и заунывное пение лоцмана постепенно слабели — катер уходил в ночь.

Отплытие

Что же было в моей жизни до этого судна? Выдолбленный из бревна челнок на реке? Катер в гавани Тринкомали? На нашем горизонте постоянно маячили рыбачьи лодки. Но я и вообразить себе не мог все великолепие этого дворца, на котором мне предстояло пересечь океан. До того самыми долгими странствиями в моей жизни были поездки на автомобиле в Нувару-Элию и на Хортон-Плейнз да поезд в Джафну: мы сели на него в семь утра, а сошли в середине дня. В это путешествие мы взяли с собой бутерброды с яйцом, кунжутные шарики — талагули, колоду карт и приключенческую книжку для мальчиков.

А тут вот было принято решение, что я поплыву морем в Англию, причем поплыву один. Никто не предупредил меня, что затея эта несколько необычная, что меня ждут приключения и даже опасности, поэтому я не испытал заранее ни радости, ни страха. Меня не предупредили, что на судне будет шесть палуб, что на нем будут находиться свыше шестисот человек, включая капитана, шестерых поваров, механиков и вете-

ринара, что на борту будет небольшая тюрьма и хлорированные бассейны, которые пересекут вместе с нами несколько океанов. Тетя небрежно пометила в календаре дату моего отплытия и предупредила школу, что я ухожу в конце семестра. О том, что мне предстоит провести три недели в море, говорили как о чем-то совершенно обыкновенном, — собственно, я даже удивился, узнав, что родственники поедут провожать меня в порт. Я полагал, что сам сяду на автобус, а потом пересяду на другой в Борелле.

Впрочем, одна попытка познакомить меня с будущей жизнью на борту все же была предпринята. Оказалось, что некая дама по имени Флавия Принс, муж которой был знаком с моим дядюшкой, плывет на том же судне, и вот однажды ее пригласили на чай и представили нас друг другу. Выяснилось, что она путешествует первым классом, тем не менее она пообещала присмотреть за мной. Я пожал ей руку — осторожно, так как рука была унизана кольцами и браслетами, после чего миссис Принс отвернулась, дабы продолжить прерванный мною разговор. Потом я битый час прислушивался к беседе нескольких своих дядьев и считал, сколько бутербродов-канапе они съели.

В последний день перед отъездом я отыскал в школе пустую экзаменационную тетрадку, карандаш, точилку, перерисованную карту мира — и сложил все это в свой чемоданчик. Вышел из здания, попрощался с генератором, выкопал детали от радиоприемника, который когда-то разобрал, не смог собрать и зарыл на газоне. Попрощался с Нараяном, попрощался с Гунепалой.

Уже в машине мне объяснили, что мне предстоит пересечь Индийский океан, Аравийское и Красное моря, пройти по Суэцкому каналу в Средиземное, а потом в одно прекрасное утро мы пришвартуемся в маленькой гавани в Англии и там меня встретит мама. Меня сильнее всего взволновали не дальность и романтика путешествия, а то, как же мама узнает, в какой именно день я прибуду в эту незнакомую страну.

И придет ли она меня встречать.

Я услышал, как под дверь подсовывают записку. В ней значилось, что мое место в ресторане находится за столом номер семьдесят шесть. Вторая койка в каюте так и стояла неразобранной. Я оделся и вышел. К трапам я не привык и лазил по ним с опаской. На верхней палубе было темно и ни души; я стал дожидаться бледного рассвета. Прошел на корму, посмотрел вдаль. Повсюду

расстилалось море.

В ресторане «Балморал» за столом номер семьдесят шесть сидели девять человек, среди них — двое мальчиков примерно моих лет.

— Мы, похоже, попали за «кошкин стол», — проговорила дама по имени мисс Ласкети. — Самое что ни на есть затрапезное место.

Было более чем очевидно, что мы сидим очень далеко от капитанского стола, расположенного в противоположном конце зала. Одного из мальчиков за нашим столом звали Рамадином, а второго — Кассием. Первый сидел тихо, второй смотрел вызывающе, и мы подчеркнуто не замечали друг друга, хотя Кассия я узнал. Мы учились в одной школе, он был старше меня на год и слыл отъявленным хулиганом — однажды его даже исключили на семестр. Я был уверен, что разговоримся мы не скоро. Зато мне понравилось другое: за столом сидело несколько интересных взрослых. Например, садовник, а еще портной, у которого был в Канди собственный магазин. А самое потрясающее — среди нас был пианист, который жизнерадостно признался, что «катится по наклонной».

Звали его мистер Мазаппа. По вечерам он играл в корабельном оркестре, днем давал уроки

фортепьяно. За это ему сделали скидку на билет. Он часто усаживал нас с Рамадином и Кассием послушать истории из его жизни. Именно в обществе мистера Мазаппы, который потчевал нас непонятными и зачастую неприличными песенками, мы постепенно все — таки сошлись. Потому что, вообще-то, все мы трое были скованны и застенчивы. Даже отказывались кивать друг другу, пока мистер Мазаппа не взял нас под свое крыло и не сказал: держите, мол, глаза и уши нараспашку, это путешествие многому вас научит. Словом, к концу первого дня пути мы сообразили, что проявлять любопытство можно и всем вместе.

Еще одним примечательным персонажем за «кошкиным столом» был мистер Невил, который до выхода на пенсию занимался демонтажем кораблей, а теперь, после скольких-то лет на Востоке, возвращался домой в Англию. Мы сразу же отметили этого крупного добряка, ибо он прекрасно разбирался в устройстве различных судов. Ему довелось демонтировать многие знаменитые корабли. В отличие от мистера Мазаппы, мистер Невил был скромником, и на разговоры о прошлом склонить его было непросто, разве что вы знали, как именно его лучше подначить. Если

бы он не отвечал на наши бесконечные вопросы с такой неподдельной скромностью, мы бы не поверили ни единому его слову и нам не было бы так интересно.

Кроме того, на нашем судне для него были открыты все двери, ибо он исследовал по заданию судовой компании «Ориент» какие-то вопросы безопасности. Он представил нас обитателям машинного отделения и котельной, и мы смогли посмотреть, что там происходит. По сравнению с первым классом машинное отделение, расположенное на адском уровне, гудело и сотрясалось от непереносимого грохота и жара. Двухчасовая прогулка по всем закоулкам «Оронсея» в сопровождении мистера Невила выявила все опасные — и не слишком опасные — места. Он объяснил нам, что подвешенные в воздухе спасательные шлюпки только кажутся опасными, после чего мы с Кассием и Рамадином повадились туда залезать: очень уж удобно было из них шпионить за пассажирами. Собственно, замечание мисс Ласкети, что место у нас «самое затрапезное», убедило нас — совершенно справедливо, — что важные персоны, такие как казначей, старший стюард и капитан, нас попросту не замечают.

Я внезапно обнаружил, что на борту находится

Эмили де Сарам, моя дальняя родственница. К сожалению, ее не посадили за «кошкин стол». В течение долгих лет именно с помощью Эмили я узнавал, что обо мне думают взрослые. Я рассказывал ей о своих приключениях и выслушивал, что она думает. Она честно говорила, что ей нравится, а что нет, а поскольку она была старше, я всегда ей верил и поступал соответственно.

У меня не было ни братьев, ни сестер, так что в детстве из родни меня окружали одни взрослые. Целая когорта неженатых дядюшек и томных тетушек, за которыми неизменно тянулся шлейф сплетен и собственной значимости. Был у нас один богатый родич, который старательно держался на расстоянии. Его никто не любил, но все уважали и постоянно о нем говорили. Рождественские открытки, которые он добросовестно присылал каждый год, подвергались скрупулезному анализу, равно как и лица его все подраставших детей, и размеры его дома, высившегося на заднем плане: бессловесное хвастовство. Таковы были представления, внушенные мне в семье, и, пока я не оторвался от родных, они заставляли меня быть осмотрительным.

Но в моей жизни всегда была Эмили, моя «машанг», несколько лет прожившая со мной почти

дверь в дверь. Детские годы наши прошли одинаково — в том смысле, что родители у обоих постоянно были либо в отлучке, либо в расстройстве. Полагаю, что ей жилось даже тяжелее, чем мне, — дела у ее отца все не налаживались, и домашние жили под постоянной угрозой его гнева. Из скупых рассказов Эмили я знал, что он любит наказывать. Даже взрослые гости чувствовали себя рядом с ним неуютно. Только дети, оказывавшиеся в доме ненадолго, на праздновании какого-нибудь дня рождения, извлекали удовольствие из его непредсказуемости. Он, бывало, забежит, расскажет что-нибудь веселое, а потом покидает всех нас в бассейн. Он частенько уезжал по делам, а то и попросту исчезал. Эмили в его присутствии всегда замыкалась, даже когда он ласково обнимал ее за шею и кружил в танце, поставив ее босые ноги себе на ботинки.

Надежной путевой карты Эмили так и не попалось, так что ей пришлось, как я полагаю, самой изобретать себя. Была она вольной в мыслях — мне нравилась ее бесшабашность, — хотя я всегда боялся, что добром это не кончится. По счастью, в конце концов бабушка оплатила ее учебу в пансионе на юге Индии, чтобы она смогла уехать от отца. Я скучал по ней. Даже когда она приез-

жала на каникулы, виделись мы не так уж часто, поскольку она пошла работать в «Цейлонский телефон». Утром за ней приезжала служебная машина, а вечером ее босс мистер Виджибаху привозил ее обратно. У мистера Виджибаху, как поведала мне Эмили, по слухам, было три яичка.

Сильнее всего нас сближала ее коллекция пластинок — все эти судьбы и чаяния, зарифмованные и наструганные на бруски по две-три минуты. Герои-углекопы, чахоточные девицы, квартирующие над лавками ростовщиков, золотоискатели, знаменитые игроки в крикет и даже заявления, что, мол, бананов больше не осталось.[2] Эмили ввела меня в этот удивительный мир и показала, как танцевать, как держать ее за талию, пока она поводила поднятыми руками, как прыгать на диван и через диван — пока он не покачнется и не рухнет под нашей тяжестью. А потом она внезапно исчезала, возвращалась в школу, в Кочин, и о ней не было ни слуху ни духу, за вычетом нескольких писем к матушке, в которых она просила присылать ей через бельгийское консульство побольше пирожных, — писем, ко-

---

[2] Примечания: 2

«Yes! We Have No Bananas» — популярная песня Фрэнка Сильвера и Ирвинга Кона из бродвейского ревю «Make It Snappy» («Давайте-ка поживее», 1922).

торые папенька ее насильно зачитывал вслух всем соседям.

К тому моменту, когда Эмили поднялась на борт «Оронсея», мы не виделись два года. Она изумительно переменилась — стала красивее, похудела с лица, в ней проступила грация, которой я раньше не замечал. Я решил, что школа, увы, поумерила ее бесшабашность, хотя говорила она теперь с легким кочинским акцентом, и это мне нравилось. Она схватила меня на прогулочной палубе за плечо — я как раз пробегал мимо — и завела разговор, дав мне тем самым тайное преимущество перед новыми приятелями. Однако по большей части она явственно давала понять, что не ищет моего общества. У нее были на это путешествие свои планы — насладиться последними неделями свободы, перед тем как на два года поступить в английскую школу.

Дружба между тихоней Рамадином, хулиганом Кассием и мной быстро крепла, хотя мы по-прежнему многое утаивали друг от друга. По крайней мере, я утаивал. Левая моя рука никогда не знала, что я держу в правой. Жизнь успела научить меня осмотрительности. В своих школах-интернатах все мы жили в страхе перед наказанием и превращались в искусных лжецов — я научился по

мелочи скрывать правду. Оказывается, далеко не всех можно принудить наказанием к абсолютной честности. Нас постоянно секли за дурные оценки и прочие проступки (трехдневная отлежка в лазарете с выдуманной свинкой, непоправимо испорченная школьная ванна, где мы разводили чернила для старшеклассников). Главным палачом был завуч начальных классов отец Барнабус — он до сих пор блуждает по задворкам моей памяти, вооруженный измахренной бамбуковой тростью. Уговоры или воззвания к здравому смыслу — это все было не для него. Он просто ходил меж нас как воплощенная угроза.

А вот на «Оронсее» не нужно было следовать никаким правилам, и я погрузился в воображаемый мир собственного сочинения, где жили корабельщики, портные и другие взрослые пассажиры, которые во время вечернего празднества ковыляли по палубе, напялив на себя гигантские звериные головы, танцевали с женщинами, на которых почитай что не было юбок, — а все музыканты из судового оркестра, включая мистера Мазаппу, были облачены в одинаковые костюмы сливового оттенка.

Поздно вечером удостоенные особой чести пассажиры первого класса покидали капитанский

стол; танцы уже закончились — под конец танцоры сняли маски и едва двигались в объятиях друг у друга, — а стюарды, убравшие пустые бокалы и пепельницы, опирались на метровой ширины швабры, которыми предстояло вымести обрывки цветной бумаги; тут — то и выводили узника.

Как правило, дело было ближе к полуночи. Палуба сияла, залитая светом луны. Он появлялся со стражниками: один скован с ним наручниками, другой, с дубинкой, шагает сзади. Мы не знали, что он натворил. Полагали, что совершил убийство — что же еще? Более сложных разновидностей преступления — на почве ревности или политики — для нас тогда еще не существовало. Заключенный был могуч с виду, замкнут и ходил босиком.

Распорядок этих полночных прогулок открыл Кассий, и в должный час мы всегда оказывались на месте. Про себя мы думали: узник может прыгнуть через леер, вместе с прикованным к нему стражником, прямо в темное море. Представляли, как он возьмет разбег и метнется навстречу смерти. Полагаю, мы думали так, поскольку были еще совсем юными, — сама мысль о прикованности, о заключении была подобна нехватке воздуха.

В свои одиннадцать лет мы не могли с этим

смириться. Мы с трудом заставляли себя надеть перед ужином сандалии и каждый вечер в «Балморале» всё представляли себе, как босоногий узник в своей темнице поглощает объедки с железной миски.

Ради визита в устланную коврами гостиную первого класса, где я должен был повидаться с Флавией Принс, мне предписали одеться соответствующим образом. Флавия Принс, почти полностью мне чужая, пообещала перед отъездом за мной присмотреть, хотя, по правде говоря, виделись мы на протяжении путешествия лишь несколько раз. И вот она пригласила меня на чай, причем в записке упоминалось, что мне надлежит надеть чистую отглаженную рубашку, а кроме того, носки. Я пунктуально объявился в баре «Веранда» ровно в четыре часа пополудни.

Поначалу она смотрела на меня, будто в подзорную трубу, вроде как и не подозревая, что я вижу выражение ее лица. Сидела она за маленьким столиком. С ее стороны воспоследовала отчаянная попытка поддержать разговор, чему не слишком способствовали мои нервические односложные ответы. Не страшно ли мне тут? Нравится ли мне плавание? У меня появились друзья?

Целых двое, ответил я. Одного зовут Кассий, а

другого Рамадин.

— Рамадин… Из мусульманской семьи, они еще в крикет играют?

Я ответил, что не знаю, но обязательно у него спрошу. Собственно, мой Рамадин для крикета не годился, он был настоящим тюфяком. Обожал сладости и сгущенное молоко. Припомнив об этом, я сунул в карман несколько печений, пока миссис Принс пыталась привлечь внимание официанта.

— Мы с твоим отцом познакомились, когда он был еще совсем молод… — начала было она и умолкла.

Я кивнул, больше она об отце не заговаривала.

— Тетушка… — начал я, наконец уверившись, как к ней надлежит обращаться. — А вы знаете про узника?

Оказалось, ей не меньше моего хочется прекратить светскую болтовню, и она вроде как не возражала немного затянуть наше «собеседование».

— Выпей еще чаю, — предложила она, поведя рукой.

Я выпил, хотя чай мне не нравился. Она созналась, что слышала про узника, хотя никто не должен был о нем знать.

— Его очень тщательно охраняют. Ты не волнуйся. На борту даже есть британский военный высокого ранга.

Я стремительно нагнулся вперед.

— Я видел его! — выпалил я. — Он по ночам гуляет. Под охраной.

— Вот как… — протянула она: мой козырь, разыгранный столь стремительно и беспечно, явно произвел на нее впечатление.

— Говорят, он совершил что-то ужасное, — добавил я.

— Да, я слышала, он убил судью.

Вот это козырь так козырь. Я так и остался сидеть с открытым ртом.

— Судью-англичанина. Пожалуй, мне не стоит больше ничего говорить, — добавила она.

Мой дядюшка, мамин брат, опекавший меня в Коломбо, тоже был судьей, правда сиамцем, не англичанином. Судье-англичанину никогда не позволили бы вести на острове ни один процесс, так что убитый, по всей видимости, был просто гостем или, возможно, приехал в качестве консультанта, советчика… Кое-что из этого мне рассказала тетушка Флавия, кое-что я сам домыслил с помощью Рамадина, у которого был трезвый, аналитический ум.

Возможно, узник убил судью, чтобы тот не поддержал обвинение. Как мне в тот момент хотелось поговорить со своим дядюшкой из Коломбо! Я распереживался, что жизни его грозит опасность. «Говорят, он убил судью!» Эта фраза все звенела у меня в голове.

Дядюшка был крупным и добродушным. С тех пор как несколько лет назад мама моя уехала в Англию, я жил у них с тетушкой в Боралесгамуве, и хотя между нами не состоялось ни единой долгой — да даже и краткой — беседы по душам, хотя дядюшка был слишком занят работой, он как бы излучал любовь и мне с ним было покойно. Вернувшись домой и налив себе джина, он позволял мне смешать его с тоником. Лишь однажды у нас вышло недоразумение. Он вел сенсационное дело об убийстве, в котором был замешан один крикетист, а я наболтал своим друзьям, что подсудимый ни в чем не виновен, а когда меня спросили, откуда я знаю, ответил, что слышал от дяди. Я, собственно, не лгал сознательно, просто хотел внутренне утвердить свою веру в героя-крикетиста. Когда дядя прослышал об этом, он просто рассмеялся и как бы между прочим попросил меня больше так не поступать.

Через десять минут после возвращения к дру-

зьям на четвертую палубу я уже расписывал Кассию и Рамадину, в чем состоит преступление узника. Я говорил у бассейна, я говорил возле стола для пинг — понга. Вот только ближе к вечеру мисс Ласкети, до которой долетели обрывки моего рассказа, прижала меня в углу и несколько разуверила в достоверности слов тетушки Флавии.

— Может, убил, а может, и нет, — сказала она. — Не верь, это, скорее всего, просто сплетня.

После этого я начал думать, что Флавия Принс специально придумала такую романтическую версию, так сказать подняла планку, — я ведь видел узника своими глазами, вот она и изобрела преступление, которое взяло меня за душу: убийство судьи. Будь мамин брат аптекарем, она выбрала бы аптекаря.

В тот вечер я сделал первую запись в экзаменационной тетрадке. В салоне «Далила» возник некоторый ажиотаж — за партией в карты один из пассажиров набросился на свою жену. Во время игры в черви червь ревности заполз ему в сердце. Имела место попытка удушения, а затем — прокол уха с помощью вилки. Я сумел увязаться за казначеем, который вел жену по узкому коридору к лазарету — рана ее была зажата сал-

феткой. Муж, громко хлопнув дверью, удалился к себе в каюту.

После этого происшествия ввели комендантский час, но нам с Кассием и Рамадином удалось выскользнуть из своих кают, мы спустились по скудно освещенным трапам и дождались появления узника. Дело шло к полуночи, мы все трое курили сучки, отломанные от плетеного кресла: поджигали и втягивали дым. Рамадину с его астмой это занятие было не слишком по душе, однако Кассий задался целью до конца путешествия скурить совместными усилиями все кресло. Примерно через час стало ясно: ночную прогулку узника отменили. Стояла кромешная тьма, но мы уже научились отыскивать в ней дорогу. Тихо сползли в бассейн, заново подожгли свои сучки и легли на спины. Безмолвные, будто трупы, мы смотрели на звезды. Казалось, мы дрейфуем в море, а не в закрытом бассейне посреди океана.

Стюард сразу предупредил, что у меня будет попутчик, но до сего момента вторая койка в каюте продолжала пустовать. Наконец на четвертый вечер — мы еще пересекали Индийский океан — в каюте вдруг вспыхнул свет и вошел человек по имени мистер Хейсти. Под мышкой он нес складной столик для бриджа. Он растолкал меня

и забросил на верхнюю койку.

— Зайдут друзья перекинуться в картишки, — сказал он. — А ты давай спи.

Я дождался узнать, кто именно зайдет. Через полчаса за столом уже сидели четверо и тихо, сосредоточенно играли в бридж. Места едва хватало. Говорили они вполголоса, чтобы не тревожить меня, и я скоро уснул под их шепот, которым делались ставки.

Утром я проснулся в одиночестве. Карточный столик был сложен и прислонен к стене. Спал ли Хейсти? Был ли он полноправным пассажиром или членом команды? Как потом выяснилось, он заведовал на «Оронсее» собачьей гостиницей; работка, судя по всему, была непыльная, большую часть времени он проводил за чтением — если только не прогуливал собак по небольшой выгородке на палубе. В результате к концу дня у него оставалась масса нерастраченной энергии. И вот по ночам, вскоре поеле двенадцати, к нему приходили друзья. Один из них, мистер Инвернио, помогал ухаживать за собаками. Еще двое были корабельными радистами. Играли каждую ночь с двух до трех, а потом неслышно уходили.

Я редко оставался с мистером Хейсти наедине. Он объявлялся в полночь и, понимая, что мне

нужно поспать, редко заводил разговор — а кроме того, почти сразу же приходили его дружки. Странствуя по Востоку, он обзавелся привычкой носить саронг и, как правило, сидел, обмотав его вокруг пояса, даже когда к нему приходили приятели. Когда приходили гости, мистер Хейсти доставал четыре рюмки и бутылку арака. Бутылку и рюмки ставили на пол, со стола убирали все, кроме карт. Я свешивался со своего невысокого помоста и заглядывал в талью «болвана». Наблюдал за комбинациями, слушал ставки. Пас… Одна пика… Пас… Двое треф… Пас… Две некозырных… Пас… Трое червей… Пас… Трое пик… Пас… Четверо треф… Пас… Пять треф… Удваиваю… Еще удваиваю… Пас… Пас… Пас… Беседовали они редко. Друг к другу, помню, обращались только по фамилиям: «мистер Толрой», «мистер Инвернио», «мистер Хейсти», «мистер Бэбсток», будто курсанты морской академии в девятнадцатом веке.

Впрочем, позднее, когда нам с друзьями доводилось столкнуться с мистером Хейсти, он вел себя совсем иначе. За пределами нашей каюты он превращался в самоуверенного, неумолчного говоруна. Он повествовал о превратностях своей службы в торговом флоте, о приключениях с бывшей женой, страстной наездницей, о своем

пожизненном пристрастии к гончим — их он любил больше всех представителей песьего племени. Но в полночном полумраке нашей каюты мистер Хейсти становился шептуном и после третьего вечера за карточным столом с редкостной заботливостью поменял ярко-желтую лампочку на приглушенно-синюю. И вот я погружался в полусон, а внизу разливали спиртное, разыгрывали робберы, деньги переходили из рук в руки, и в синеватом свете все это казалось жизнью внутри аквариума. Доиграв, они выходили на палубу покурить, а через полчаса мистер Хейсти неслышно проскальзывал обратно, некоторое время читал, а потом гасил свой ночник.

Мальчику, которого дожидаются друзья, сон видится темницей. К ночи мы относились с нетерпением и вскакивали еще до того, как рассвет успевал объять судно. Нам хотелось поскорее вернуться к исследованию нашей вселенной. Лежа на койке, я слышал тихий условный стук в дверь — Рамадин. Условность, собственно, была излишней — кто еще мог стучать в такое время? Два удара, долгая пауза, еще один удар. Если я не слезал с койки и не отпирал дверь, до меня доносилось театральное покашливание. А если я и тогда не отзывался, он шептал: «Майна» — такое

мне дали прозвище.[3]

Мы встречались с Кассием у трапа и скоро уже вышагивали босиком по палубе первого класса. В шесть утра эта палуба никем не охранялась, а мы забирались туда еще до того, как первый луч проклюнется на горизонте, даже до того, как ночные фонари замигают и автоматически выключатся при свете зари. Мы снимали рубашки и тремя иголочками ныряли в золоченый бассейн первого класса — без единого всплеска. Храня вынужденное молчание, мы плавали в нарождавшемся полусвете.

Если нам удавалось продержаться незамеченными целый час, можно было проскользнуть на открытую палубу, где уже был подан завтрак-буфет, навалить еды на тарелку и дать деру с серебряной вазочкой сгущенного молока, такого густого, что ложка стояла стоймя посредине. После этого мы забирались в свое укрытие, в одну из подвешенных шлюпок, поглощали неправедно добытую еду, а потом Кассий доставал сигарету «Голд лиф», которую где — то спроворил, и учил нас курить.

Рамадин вежливо отказывался — у него бы-

---

[3] Примечания: 3

Не в смысле майна/вира, а майна — говорящий скворец (Acridotheres).

ла бронхиальная астма, что давно уже стало очевидным и нам, и остальным обитателям «кошкиного стола». (Не менее очевидно это было и через несколько лет, когда мы снова увиделись в Лондоне. Тогда нам было по тринадцать-четырнадцать, мы было потеряли друг друга из виду — годы эти ушли на то, чтобы попривыкнуть к новой стране. Наконец я увидел его снова, с родителями и с сестрой Массумех, — так вот, он и тогда подхватывал все окрестные бронхиты и простуды. В Англии мы возобновили было дружбу, только за протекшее время мы успели перемениться, земные условности перестали быть для нас пустым словом. Как-то вышло, что теперь я больше сблизился с его сестрой — Масси всегда сопровождала нас на прогулки по Южному Лондону, на велотрек Херн-Хилл, в брикстонский «Рокси», а потом на местную барахолку; мы, точно внезапно опьянев, носились между лотками с едой и одеждой. А бывало, мы с Масси сидели на диванчике в доме ее родителей на Милл-Хилл, и ладони наши под прикрытием пледа подползали одна к другой, ложились внахлест — а сами мы делали вид, что смотрим по телевизору бесконечные репортажи о гольфе. Однажды ранним утром она пробралась в комнату наверху, где

спали мы с Рамадином, и села рядом, прижав палец к губам и призывая к молчанию. Рамадин спал в своей кровати. Я попытался было сесть, но она толкнула меня раскрытой ладонью, а потом расстегнула пижамную кофточку и открыла мне недавно сформировавшуюся грудь, расчерченную зеленоватыми тенями росших снаружи деревьев. И вот после этого я услышал покашливание Рамадина, легкий хрип, с которым он во сне прочищал горло, а Масси — полуобнаженная, устрашенная, бесстрашная, смотрела на меня с теми чувствами, с какими совершаешь такие вот поступки в тринадцать-четырнадцать лет.

Мы бросали тарелки, ножи и ложки, оставшиеся от нашей краденой трапезы, в шлюпке и пробирались обратно на свою палубу. В конце концов, во время учебной тревоги, стюард все-таки обнаружил следы наших многочисленных завтраков — в тот день шлюпки спустили на воду, а капитан потом некоторое время искал на борту безбилетного пассажира.

Когда мы пересекали границу между первым и туристическим классом, на часах еще не было и восьми. Мы делали вид, что покачиваемся в такт качанию судна. Я к тому времени уже полюбил этот медленный валкий вальс. А то, что я здесь

один, если не считать Флавии Принс и Эмили — так и те где-то далеко, — само по себе было приключением. Мне не надо было держать ответ перед родными. Я мог пойти куда хочу, делать что хочу. А еще мы втроем уже выработали одно правило. Каждый день полагалось совершить хоть что-нибудь запрещенное. А тут день едва занялся, и на то, чтобы это исполнить, у нас еще было очень много времени.

Когда родители мои разошлись, произошло это без шума, без выяснения отношений, однако и тайны из этого не делали. Представили это скорее как недоразумение, не как катастрофу. Так что мне трудно сказать, до какой степени проклятие этого развода пало на мою голову. Не припомню, чтобы оно на меня давило. Утром мальчик выходит за порог и проводит весь день в круговерти своего едва нанесенного на карту мира. Впрочем, юность моя была полна опасностей.

В первые свои годы в пансионе при колледже Святого Фомы в Маунт-Лавинии я очень любил плавать. Мне нравилось все связанное с водой. На школьной территории имелся бетонный желоб, по которому во время муссонов стекала вода. Там возникла игра, в которую играли некоторые пансионеры. Мы прыгали в воду, и нас уносило

течение — кружа, переворачивая с боку на бок. В пятидесяти метрах дальше имелась веревка — мы хватались за нее и вылезали на сушу. А еще в двадцати метрах желоб соединялся со сточной трубой, которая уводила под землю, в бездонную тьму. Куда именно, мы так и не узнали.

Нас, наверное, было трое, а то и четверо — мы раз за разом сплавлялись по желобу, по очереди, — головы едва виднеются над водой. Все это требовало мужества — ухватиться за веревку, вылезти, а потом бежать обратно под проливным дождем и повторять все снова. Однажды перед самой веревкой я с головой ушел под воду и не успел ухватиться. Над водой торчала только рука — а меня неуклонно волочило к уходящему вниз водостоку. В тот день в Маунт — Лавинии, в пору апрельских муссонов, меня ждала верная смерть — предсказанная мне астрологом. Было мне девять лет, и передо мной лежало путешествие вслепую в чертог подземной тьмы. Но тут кто-то схватил меня за задранную руку и вытащил из воды. Ученик постарше презрительно обругал нас четверых и исчез в пелене дождя, даже не потрудившись проверить, бросили ли мы свою затею. Кто это был? Мне бы его поблагодарить. Но я лежал, задыхающийся, промокший до нитки,

на траве.

Каким я был тогда? Я не помню своего внешнего облика и, соответственно, не помню себя. Если бы мне пришлось изобрести свою детскую фотографию, на ней был бы босоногий паренек, в шортах и хлопковой рубашке, бегущий с парочкой деревенских друзей вдоль влажной стены, которая отделяла наш дом с садом в Боралесгамуве от потока машин на Хай — Левел-роуд. А может, я был бы на ней один — дожидаюсь их прихода, смотрю не в сторону дома, а на пыльную улицу.

Кто знает, нравится ли детям жить в беспризорности? Стоило мне выйти за порог, и я больше не чувствовал родительской руки. Впрочем, мы, видимо, пытались своими силами понять и постичь мир взрослых, гадали, что там происходит и почему. Однако, когда мы поднялись на борт «Оронсея», мы впервые, просто из-за недостатка места, тесно соприкоснулись со взрослыми. Здесь было просто физически невозможно держаться от них на расстоянии, и мы обратились к тем вопросам, которые нас волновали.

Мазаппа

Мистер Мазаппа подкатывается ко мне — я как раз посвящаю дряхлого пассажира в искусство раскладывать шезлонг всего в два движения, — берет меня под ручку и уводит погулять.

— От Натчеза до Мобила, — предостерегает он, — от Мемфиса до Сент-Джо…[4]

Делает паузу, наслаждается моим замешательством.

Своими неожиданными появлениями он вечно застает меня врасплох. Я подплываю к бортику бассейна — он хватает меня за скользкую руку и прижимает к краю, склоняется ко мне с очередными подробностями своей биографии:

— Послушай, мой особенный… женщины станут тебя умасливать и строить тебе глазки… Я хочу предостеречь тебя на своем опыте.

Вот только мне одиннадцать лет, и эти его предостережения звучат скорее как оскорбления, нацеленные в будущее. Когда он обращается к

---

[4] Примечания: 4

«From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe» — из песни «Blues in the Night», написанной Гарольдом Арленом и Джонни Мерсером в 1941 г. для одноименного киномюзикла.

нам троим, все звучит еще мрачнее, даже в апокалипсических тонах:

— Вернулся домой из последнего плавания, вижу — а в моей конюшне чужой мул. Понимаете, к чему я клоню?

Не понимали. Пока он не объяснит. Впрочем, по большей части он беседовал со мной одним, будто я и впрямь был особенным, тем, на кого можно поставить свое клеймо. Возможно, в этом смысле он был прав.

Макс Мазаппа просыпался в полдень, съедал поздний завтрак в баре «Далила».

— Мне парочку одноглазых фараонов и паралитика, — просил он, жуя коктейльные вишни и дожидаясь яичницы.

Потом брал чашку яванского кофе и уносил в танцевальную залу, к пианино, где ставил на верхние клавиши. И вот там, подстрекаемый пианино, он посвящал всех, кого придется, в важные и сложные подробности бытия. Случалось, он поучал нас, в каких случаях надлежит надевать шляпу, случалось, учил орфографии:

— Немыслимый язык — английский! Немыслимый! Египет, например. Поди напиши правильно. Но я вас сейчас научу. Просто повторяйте про себя: «Ее груди изящны, попа ее тяжела».

Мы и впрямь запомнили эту фразу навеки. Вот и сейчас, прежде чем написать, я чуть поколебался и молча составил слово из первых букв.

По большей же части он делился своими познаниями в музыке, разъяснял нам тонкости четверть — тонов или напевал очередную песенку, которую подхватил от певички-сопрано на какой-нибудь закулисной лесенке. Получался такой лихорадочный, археологический экскурс в его биографию. «Я ехал в поезде и думал о тебе»,[5] — бормотал он. Мы вроде как выслушивали исповедь его страдающего, измученного сердца. Сегодня-то я понимаю, что Макс Мазаппа знал толк в мелодических и композиционных тонкостях. Далеко не все его крестные муки были муками любви.

Был он наполовину сицилийцем, наполовину кем — то еще — это он поведал со своим совершенно ни на что не похожим акцентом. Работал по всей Европе, ненадолго смотался в Америку, немного увлекся — когда вынырнул, оказалось, что живет в тропиках над каким-то портовым баром. «Вот вам рассказ о цветном бедолаге, что в старом Гонконге осел», — напевал он, обучая

[5] Примечания: 5

«I took a trip on a train and I thought about you» — из популярной песни Джимми ван Хойзена и Джонни Мерсера «I Thought about You» (1939).

нас припеву из «Гонконгского блюза».[6] В своих рассказах Мазаппа прожил столько жизней, что правда и вымысел слились слишком тесно, нам уже было не отделить одно от другого. Надуть нас троих, в нашей неприкрытой невинности, было совсем нетрудно. А кроме того, в некоторые из песен, которые мистер Мазаппа напевал, склонившись над клавиатурой, однажды в полдень, когда свет океанского солнца плескался по полу танцевальной залы, вплетались слова, доселе нам неизвестные.

Чрево. Сука.

Он обращался к мальчишкам, стоявшим на пороге зрелости, и, наверное, понимал, какое впечатление производит. Но, кроме того, он рассказывал своим юным зрителям о музыкальной доблести, и главным его героем был Сидни Беше: однажды, во время выступления в Париже, некто обвинил его в том, что он взял фальшивую ноту. В ответ он вызвал обидчика на дуэль, в воспоследовавшей потасовке подстрелил случайного прохожего, попал в тюрьму и был депортирован.

---

[6] Примечания: 6

«Hong Kong Blues» — песня Хоаги Кармайкла, написанная им в 1939 г. и фигурирующая в фильме Говарда Хоукза «Иметь и не иметь» (1944), экранизации одноименного романа Э. Хемингуэя (в главных ролях — Хамфри Богарт, Лорен Бэколл).

«Великий Беше… Вам, ребята, еще жить и жить, — говорил Мазаппа, — прежде чем встретится другой столь же ярый защитник принципов».

По большей же части нас завораживали или ошеломляли безграничные любовные драмы, звучавшие в его песнях, его вздохах и его откровениях. Мы полагали, что причиной фатального финала его карьеры стал обман или слишком сильная любовь к женщине.

Каждый месяц при ущербной луне, вновь и вновь,

Да, каждый месяц, да, при ущербной луне, вновь и вновь

Из чрева суки струится кровь.

Было нечто сверхъестественное и незабываемое в этом куплете, который пропел нам Мазаппа в один из тех дней — что бы там ни значили слова. Мы услышали его лишь раз, но он остался внутри некой непререкаемой истиной, отталкивавшей нас своей лапидарностью, как оттолкнула тогда. Куплет (написанный, как я выяснил впоследствии, Джелли Роллом Мортоном) был пуленепробиваемым и водонепроницаемым. Но мы тогда этого не знали, нас слишком смутила прямота — этот глагол, эта

густая летальная рифма, столь экономично следующая за повтором в зачине. Мы отрешились от его присутствия в зале, вдруг осознав, что стюарды, взобравшись на стремянки, украшают стены к вечерним танцам, устанавливают цветные прожекторы, подвешивают к потолку перекрещенные гирлянды папиросной бумаги. Они рывком распахивали огромные белые скатерти и оборачивали ими деревянные подпорки. В центр каждого стола помещали вазу с цветами — голая комната становилась окультуренной и романтичной. Мистер Мазаппа не ушел с нами. Он так и сидел за пианино, глядя на клавиши, будто не замечая окрестного преображения. А мы знали: что бы он там ни сыграл нынче вечером с оркестром, это будет совсем не то, что он только что играл для нас.

* * *

У мистера Мазаппы был сценический псевдоним, или «боевая кличка», как он ее называл: Солнечный Луг. Пользоваться им он начал после того, как однажды во Франции в его фамилию на афише вкралась опечатка. Кроме того, возможно, антрепренеров смущало левантийское звучание его имени. На «Оронсее», где уроки музыки рекламировали в ежедневном бюллетене, его тоже

именовали «Солнечным Лугом, знаменитым маэстро». Но для нас, за «кошкиным столом», он был просто Мазаппой, поскольку понятия «солнечный» и «луг» никак не вязались с его натурой. Не было в нем ни лучезарности, ни свежести. Но его страсть к музыке очень оживляла наш стол. Однажды он на протяжении целого ланча развлекал нас рассказом о дуэли «великого Беше» в Париже, в 1928 году, в рассветные часы, которая вылилась в форменную перестрелку, — Беше выстрелил в Маккендрика, пуля задела шляпу-борсалино клеветника, полетела дальше и попала в ляжку какой-то француженки, шедшей на работу. Мистер Мазаппа в точности воспроизвел траекторию полета пули с помощью солонки, перечницы и куска сыра.

Как-то днем он пригласил меня к себе в каюту послушать пластинки. Беше, рассказал Мазаппа, пользовался кларнетом системы Альберта, отличающимся аккуратностью и богатством тона. «Аккуратность и богатство», — повторял он снова и снова. Он поставил пластинку на семьдесят восемь оборотов и шептал в такт музыке, отмечая немыслимые распевы и рулады:

— Слышишь, как он вытрясает звук?

Я ничего не понимал, но был зачарован. Каж-

дый раз, когда Беше вновь воскрешал мелодию — помню, Мазаппа сказал: «точно солнечный свет на лесной поляне», — мой наставник подавал мне знак. Он пошарил в завосковелом чемодане, достал блокнот и зачитал слова, которые Беше якобы сказал своему ученику: «Сегодня я дам тебе ноту, — сказал Беше. — Посмотрим, какой и сколько ты сможешь ее сыграть: прорычи, растопчи, распластай, заточи; делай что хочешь. Это все равно что говорить».

Еще Мазаппа рассказал мне про пса:

— Он выходил на сцену вместе с Бэшем и ворчал себе под нос, пока хозяин играл… именно поэтому Беше и ушел от Дюка Эллингтона. Дюк не хотел, чтобы Гула торчал там, в свете рампы, и затмевал его белый костюм.

Так что именно из-за Гулы Беше ушел из оркестра Эллингтона и открыл «Южное ателье» — магазин по ремонту и чистке одежды, в котором вечно толклись музыканты.

— Именно тогда он записал свои лучшие диски, «Черную палку» и «Милашку». Когда-нибудь ты их еще купишь.

А потом — о делах постельных:

— Бэш любил повторяться, часто по нескольку раз оказывался с одной и той же женщиной…

Женщины разного толка пытались прибрать его к рукам. Но он, как ты понимаешь, с шестнадцати лет был странствующим музыкантом, успел перевидать женщин всех стран и мастей…

Всех стран и мастей! От Натчеза до Мобила…

Я слушал, непонимающе кивал, а мистер Мазаппа притискивал этот пример образа жизни и музыкального мастерства к самому сердцу, точно овальный образок.

Третья палуба

Я сидел на койке, глядя на дверь и на металлическую стену. Середина дня, в каюте было жарко. Нужно было вернуться мыслями назад. Вернуться и вспомнить, как удивительно приятны одиночество и любопытство. Потом я ложился навзничь и смотрел на потолок, до которого оставалось меньше полуметра. Страха не было. Хотя я и находился в море. Побыть одному можно было только здесь, только в это время. Почти все дни я проводил с Рамадином и Кассием, иногда еще с Мазаппой и другими соседями по «кошкиному столу». По ночам меня окружало перешептывание моих картежников.

А еще иногда в поздние сумерки я забредал на третью палубу — в это время там никого не было. Я подходил к ограждению — оно было мне как раз по грудь — и смотрел, как мимо судна струится море. Иногда оно вздымалось почти до уровня палубы, словно затем, чтобы унести меня прочь. Я стоял неподвижно, хотя внутри бушевали страх и одиночество. То же чувство я испытал, когда как-то раз потерялся в узких улоч-

ках рынка Петта или когда приспосабливался к неведомым, негласным правилам новой школы. Пока перед глазами не было океана, не было и страха, но здесь, в полутьме, океан подступал вплотную, окружая судно, вихрясь со всех сторон. Теперь-то я понимаю — с тех самых пор я постоянно пытаюсь изжить этот одинокий страх. И все же, несмотря на испуг, я стоял лицом к лицу с убегающей вспять тьмой, будто наживка, закрепленная между палубой и волнами, раздираемый побуждением сделать шаг назад и острым желанием рвануться тьме навстречу.

Еще на Цейлоне я однажды видел, как в дальней части гавани Коломбо кромсают океанский лайнер. Весь день я смотрел, как синий ацетиленовый луч врезается в его борта. Я понимал, что судно, на котором я сейчас плыву, тоже можно разрезать на куски. Наткнувшись на мистера Невила — он ведь раньше как раз демонтировал старые корабли, — я потянул его за рукав и спросил, не грозит ли нам опасность. Он ответил, что «Оронсей» пребывает в добром здравии и в самом расцвете сил. Мол, во время Второй мировой тот служил военным транспортом; на одной трюмной переборке по сей день красовалась огромная бело-розовая роспись: голые женщины верхом

на лафетах и танках — творчество какого-то солдатика. Картина никуда не делась, причем оставалась тайной, — офицеры в трюм никогда не спускались.

— Но нам не грозит опасность?

Он усадил меня и на обороте какого-то чертежа, которые всегда таскал с собой, нарисовал греческое боевое судно, тримему.[7]

— Это был величайший из всех морских кораблей. И даже его больше нет. Он сражался с врагами Афин, доставлял туда неведомые плоды и злаки, новые знания, новое зодчество, даже демократию. Без триремы ничего этого не возникло бы. На корабле не было никаких украшений — трирема была прежде всего оружием. Из команды — только гребцы и лучники. И вот ведь от трирем не осталось ни единого фрагмента. Их ищут и по сей день — в отложениях на речных берегах, но пока безуспешно. Триремы строили из бука и крепкого вяза, киль вытесывали из дуба, а обшивку выгибали из свежей сосны и сшивали пеньковыми веревками. Ни крупицы металла. Такой корабль можно было сжечь на берегу, а будучи потоплен, он просто разлагался. Наше

[7] Примечания: 7

Строго говоря, это уже римское название; у греков такие корабли назывались триерами.

судно надежнее.

Не знаю почему, но рассказ мистера Невила о военном корабле древности меня успокоил. Я теперь воображал, что плыву не на расфуфыренном «Оронсее», а на чем-то более надежном, более выносливом. Я был гребцом или лучником на тририме. Мы входили в Аравийское, а потом в Средиземное море, и мистер Невил был нашим капитаном.

В ту ночь я внезапно проснулся с ощущением, что мы проходим мимо островов, что они совсем рядом, во тьме. Изменился плеск воды о борта, появилось эхо, будто волны разбивались о землю. Я включил желтый ночник в изголовье и посмотрел на карту мира, которую срисовал с какой-то книги. Я забыл сделать на карте подписи. Знал лишь одно: из Коломбо мы взяли курс на северо-запад.

Австралийка

В предрассветный час, когда мы вставали и отправлялисъ бродить по казавшемуся необитаемым судну, из темных бездонных салонов пахло вчерашним табачным дымом; мы с Рамадином и Кассием мгновенно заполняли безмолвную библиотеку грохотом перекатывающихся тележек. Но вот в одно прекрасное утро мы вдруг увидели девчонку на роликах, которая носилась кругами по дощатой верхней палубе. Как выяснилось, она вставала еще раньше, чем мы. Полностью игнорируя наше присутствие, она разгонялась все быстрее, все размашистее перенося вес тела с ноги на ногу. На одном повороте, не рассчитав прыжок через провода, она врезалась в ограждение, поднялась, глянула на мазок крови на колене и помчалась дальше, косясь иногда на наручные часы. Оказалось, она австралийка, и это нас совершенно заворожило. Наши родственницы так себя не вели, и мы вообще никогда не видели такого упорства. Потом мы приметили ее в бассейне — она плыла, стремительно рассекая воду. Мы бы не удивились, если бы она вдруг прыгнула

за борт и минут двадцать продержалась вровень с «Оронсеем».

В итоге мы стали вставать еще раньше, чтобы посмотреть, как она делает свои пятьдесят-шесть-десят кругов. Закончив, она снимала ролики и заходила — выдохшаяся, потная, полностью одетая — под палубный душ. Стояла там среди струй и брызг, перекидывая волосы то туда, то сюда, будто какая-то зверюшка в одежде. То была красота совершенно незнакомого толка. Когда австралийка покидала палубу, мы шли за ней по следам, которые высыхали прямо на глазах под нарождающимся солнцем.

Кассий

Это надо же додуматься дать ребенку имя Кассий, говорю я себе теперь. У многих ли родителей хватило бы духу наречь так своего первенца? Впрочем, Шри-Ланка всегда славилась сочетаниями античных имен и сингалезских фамилий — нельзя сказать, что Соломонов и Сенек здесь так уж много, но они попадаются. Нашего семейного педиатра звали Сократ Гуневардена. Римские источники, конечно, подпортили Кассию репутацию,[8] и все равно это нежное, пришепетывающее имя, хотя мой тогдашний знакомый, юный Кассий, был скорее иконоборцем. Как и я, он когда-то учился в колледже Святого Фомы. Был меня на год старше, при этом не столько олицетворял собой авторитет, сколько выказывал к таковому полное презрение. Не припомню, чтобы он пытался подмазаться к сильным мира сего. Он и вас втягивал в орбиту своего восприятия, и вы начинали смотреть на пирамиду корабельной власти его глазами. К примеру, ему страшно нра-

[8] Примечания: 8

Имеется в виду Гай Кассий Лонгин, составивший с Марком Юнием Брутом заговор против Гая Юлия Цезаря.

вилось быть самым затрапезным пассажиром за «кошкиным столом».

Если Кассий заводил речь о колледже Святого Фомы в Маунт-Лавинии, говорил он с энергией повстанца, вспоминающего годы сопротивления. Он учился на класс старше — соответственно, нас разделяли многие миры, но для школьников помладше он был настоящим кумиром, поскольку его очень редко ловили на месте преступления. А если ловили, по лицу его не пробегало ни тени смущения или стыда. Особо он прославился после того, как на несколько часов запер «бамбукового» Барнабуса, старшего воспитателя пансиона, в туалете для младшеклассников: так он выражал протест против грязнющих уборных в школе. (Приходилось садиться на корточки над зловонной дырой, а потом мыть руки, поливая себе из ржавой банки из-под фруктового сиропа. Выведенную на ней надпись: «Из сильного вышло сладкое»[9] — я запомнил навсегда.) Кассий дождался, когда в шесть утра Барнабус вошел в ученический туалет на первом этаже, где имел привычку засиживаться надолго, прижал дверь металлическим прутом, а потом залепил засов

[9] Примечания: 9
Ветхий Завет. Книга Судей Израилевых, 14:14.

быстросохнущим цементом. Мы слышали, как наш воспитатель всем телом налегает на дверь. Потом он начал выкликать имена — начав с учеников, к которым имел доверие; мы один за другим вызывались помочь, после чего убегали на школьную площадку, где прежде всего орошали траву за кустами, а потом шли поплавать или прилежно отправлялись на самоподготовку, начинавшуюся в семь утра, — собственно, отец Барнабус сам учредил ее в начале семестра. Цемент одному из рабочих пришлось сбивать крикетной битой, но это произошло уже во второй половине дня. Мы-то надеялись, что к этому времени наш воспитатель сгорит синим пламенем или лишится рассудка, а с ним и речи. Увы, месть не заставила себя долго ждать. Кассия высекли и исключили на неделю — после чего он стал уж совершеннейшим героем всех младшеклассников, в особенности после пламенной речи директора, который две минуты кряду клял его на утренней службе, будто Кассий был одним из падших ангелов. Разумеется, ничему этот эпизод не научил — никого. Много лет спустя, когда один из выпускников пожертвовал школе денег на строительство нового крикетного павильона, мой друг Сенека заметил: «Лучше бы соорудили

тут пристойные сортиры».

Как и мне, Кассию для зачисления в английскую школу пришлось сдать в Святом Фоме какой-то сюрреалистический экзамен, который принимал сам директор. Нужно было ответить на несколько арифметических вопросов, причем во всех фигурировали фунты и шиллинги, притом что мы были знакомы только с рупиями и центами. Были также вопросы на общую эрудицию: сколько человек входит в состав оксфордской гребной команды и кто живет в доме под названием «Дав-Коттедж». Кроме того, нас попросили назвать имена трех членов палаты лордов. Кроме нас с Кассием, в гостиной у директора в тот субботний день никого не было, и Кассий подсказал мне неверный ответ на вопрос: «Как называется собака женского пола?» Он шепнул: «Кошка», я так и написал. Собственно, тогда он впервые в жизни со мной заговорил, да и то сказал неправду. До того я знал только о его подвигах. Все мы, младшеклассники, знали, что в колледже Святого Фомы он признан «неисправимым». Представляю, как кривились учителя, узнав, что он будет представлять их школу за границей.

В Кассие постоянно проявлялась смесь упрямства и доброты. О родителях своих он никогда

не упоминал, а если уж приходилось — обязательно подчеркивал, что он не такой, как они. Собственно, во время путешествия мы мало интересовались прошлым друг друга. Рамадин время от времени упоминал разные советы, которые родители давали ему относительно здоровья. Что касается меня, друзья знали лишь, что в первом классе у меня едет «тетушка». Предложение молчать о семейных делах исходило от Кассия. Ему, похоже, нравилось изображать самостоятельность. В таком свете он и видел жизнь нашей компании на борту. Рассказы Рамадина о доме он терпел только потому, что знал о физической слабости друга. Кассий был мягко демократичен. В принципе, он был только против власти Цезаря.

Как мне кажется, благодаря ему я сильно переменился за эти три недели — он заставлял видеть все, что происходило вокруг, в искривленной или перевернутой перспективе. Три недели — очень короткий срок, но шепот Кассия так и не стих в моей памяти. Шли годы, я слышал о нем, о его карьере, но лично мы больше не встречались. А вот с Рамадином виделись часто — я бывал на Милл-Хилл, где жили его родные, ходил с ним и с его сестрой на утренние сеансы в кино, на гребные гонки в Эрлз — Корте, — и там мы часто

воображали, чего бы натворил Кассий, окажись он с нами.

Экзаменационная тетрадь.
Подслушанные разговоры
Дни с 1-го по 11-й

— Не смотри на него, слышишь, Селия? Не вздумай больше смотреть на эту свинью!

— У сестры моей странное имя. Массумех. Это значит «безупречная››, «огражденная от грехов». А по-персидски — «одаренная» или «искренняя». Есть еще значение «беззащитная».

— Я, вот ведь незадача, просто терпеть не могу этого силихэмского терьера.

— А я ее поначалу принял за синий чулок.

— Мы иногда фруктами травим рыбу.

— В шторм всегда появляются карманники…

— Я вот слышала, что можно перейти пустыню, съедая в день лишь по финику и луковице.

— С языками — то она в ладу, вот ее и припахали на Уайтхолле.

— Этот одинец меня угробит!

— Твой муж тут предложил мне лежалую устрицу, а я ему и говорю: да это будет поопаснее, чем вступать в половую связь в семнадцать лет!

Трюм

Одним из наших соседей по «кошкиному столу» был Ларри Дэниелс. Плотно сбитый, мускулистый мужчина. Он всегда был при галстуке, всегда закатывал рукава рубашки. Поначалу мы знали о нем лишь одно: он по уши втрескался в мою семнадцатилетнюю кузину, которая даже не удосуживалась ответить ему, который час. По причине ее пренебрежения он лез из кожи вон, чтобы подружиться со мной. Наверное, как-то заметил, как я хохочу над чем-то с ней и с ее друзьями у бассейна, — Эмили почти все время проводила там. Мистер Дэниелс осведомился, не желаю ли я осмотреть его «сад» на борту. Я осведомился, нельзя ли привести двоих спутников, мистер Дэниелс согласился, хотя было ясно: ему бы хотелось заполучить меня безраздельно, чтобы расспросить о пристрастиях и привычках Эмили.

Так уж сложилось, что когда мы с Кассием и Рамадином оказывались в обществе мистера Дэниелса, то постоянно выпрашивали у него экзотические напитки, которые продавали в баре

у бассейна. Или уговаривали сыграть с нами в какую-нибудь игру. Мистер Дэниелс был человеком интеллигентным, любознательным, но нам интереснее было помериться с ним силой — мы нападали на него втроем, и в конце концов он, отдуваясь, валился на мат, а мы, основательно вспотев, удирали и прыгали в бассейн.

Только за ужином некому было защитить меня от расспросов мистера Дэниелса касательно моей кузины — как на беду, мы с ним сидели рядом, — так что приходилось говорить об Эмили, и ни о чем другом. Единственное достоверное сведение, которое я сообщил ему со всей искренностью, заключалось в том, что она любит ароматизированные сигареты «Плеерс». Именно их, и только их она курила уже года четыре. Остальные ее пристрастия и привычки я выдумал.

— Ей нравится мороженое из «Слоновника», — говорил я. — Она собирается на сцену. Хочет стать актрисой.

Дэниелс уцепился за фальшивую соломинку:

— На борту есть театральная труппа. Я мог бы ее познакомить…

Я кивнул, будто бы в одобрение этого плана, — и на следующее утро застал Дэниелса за беседой с троими из труппы «Джанкла». Они плыли в Евро-

пу разыгрывать там свои улично-акробатические сценки, а по пути время от времени давали спектакли для пассажиров. Порой жонглировали — случалось, под руку им после вечернего чая подворачивались чашки и блюдца, — однако по большей части они выступали официально, в костюме и многослойном гриме. А лучший их трюк заключался в том, что они вызывали пассажиров на импровизированную сцену и раскрывали личные тайны каждого, доводя до крайнего смущения. В основном речь шла о местонахождении потерянного бумажника или перстня или, например, о том, что пассажир едет в Европу навестить больную сестру. Чудеса эти творил под конец представления «Хайдерабадский мудрец», лицо которого было изрисовано красными полосами, а глаза обведены белилами — от этого они казались глазами великана. Он, собственно, нагонял на нас жуткий страх, потому что иногда входил в гущу толпы и сообщал, сколько детей у того или иного пассажира или откуда родом его жена.

Однажды ближе к вечеру, бродя по третьей палубе, я заприметил «Хайдерабадского мудреца» — скрючившись под шлюпкой, он гримировался к представлению. В одной руке он держал перед лицом зеркало, а другой быстро наносил

слой за слоем розовую краску. Оказалось, что «Хайдерабадский мудрец» молод, худощав — полупокрашенная голова казалась великоватой для щуплого туловища. Он таращился в зеркало, подправляя грим, и не замечал, что я стою рядом и смотрю, как он трудится в полутьме под свисавшей с талей шлюпкой. Потом он поднялся, шагнул на солнечный свет, краски вспыхнули, глаза заискрились демонической проницательностью — он бросил на меня мимолетный взгляд и прошествовал мимо, будто я был пустым местом. Именно в тот миг я впервые заглянул за тонкий занавес искусства и, когда в следующий раз увидел «мудреца» на сцене, в полном облачении, уже чувствовал себя гораздо увереннее. Мне казалось, я почти различаю внутри скелет — и уж всяко знаю о его существовании.

Кассий любил труппу «Джанкла» сильнее всех нас. Ему страшно хотелось выступить с ними, особенно после того, как однажды к нам прибежал взволнованный Рамадин и поведал, что своими глазами видел, как один из актеров, показывая пассажиру дорогу, снял с него часы. Сделано это было так ловко, что пассажир ничего не почувствовал. Два дня спустя «Хайдерабадский мудрец» шагнул в толпу зрителей и сообщил пострадав-

шему, что если у него «вдруг» пропали часы, находятся они там — то. Это было просто великолепно. Мы влюбились в актеров пуще прежнего. Таким же образом были похищены сережка, чемодан, пишущая машинка из каюты люкс — все они попали к «Хайдерабадскому мудрецу», а он в должный срок сообщил об их местонахождении владельцу. Когда мы рассказали о своем открытии мистеру Дэниелсу, он посмеялся и сказал, что это очень напоминает ловлю на живца.

Но поначалу мистер Дэниелс понятия не имел об этой стороне жизни труппы «Джанкла», поэтому просто представился им и сообщил, что на борту находится его приятельница, мисс Эмили де Сарам, чрезвычайно одаренная юная дама, которая обожает театр, — так вот, не позволят ли они привести ее на репетицию? Сколько я понимаю, через пару дней он ее действительно привел, вот чего я не знаю — это питала ли Эмили хоть какой-то интерес к театру. В любом случае именно таким образом она и познакомилась с «Хайдерабадским мудрецом», именно с этого и началась у нее совсем не та жизнь, какую ей прочили.

Если не считать его «слабости» к Эмили, мистер Дэниелс не вызывал у нас особого интереса.

Может, в нем и было что-то любопытное, но мы были сосредоточены на более мелких вещах — если вообще на чем-то сосредотачивались, потому что нас что ни час отвлекали новые события и открытия, которые будоражили и смущали, вызывая недолговечные вспышки возбуждения. Мистер Дэниелс был слишком невнятен, чтобы пробудить в нас долгосрочное любопытство, хотя вот сейчас, пожалуй, я сумел бы оценить его общество, с удовольствием погулял бы с ним по его ботаническому саду, послушал бы его рассуждения о необычайных свойствах вот этого вот растения, мимо которого мы как раз проходим, о пальмах, папоротниках и кустарниках, задевавших наши предплечья.

И вот в один прекрасный день он собрал нас всех троих и отвел, как и обещал, в чрево судна. Мы вошли в носовой отсек, где нас встретил поток воздуха от двух турбовентиляторов, соединенных с генераторной. У мистера Дэниелса был свой ключ, с его помощью мы попали в трюм, в темный провал, простиравшийся вниз на несколько этажей. Далеко под нами слабо мерцали несколько фонарей. Мы спустились по железной лестнице, прикрепленной к стене, миновали несколько трюмов, набитых ящиками,

мешками и огромными, одуряюще пахнувшими листами каучука. Из загона для кур раздавалось громкое кудахтанье — мы рассмеялись, когда при нашем приближении шум внезапно стих. Внутри переборок шумела вода — мистер Дэниелс объяснил, что там работают водозаборники опреснителей.

Когда мы достигли дна трюма, мистер Дэниелс уверенно шагнул в темноту. Мы последовали за ним в слабом свете фонарей, висевших у нас над головами. Отшагав метров пятьдесят, он свернул направо, тут нам и предстала роспись, о которой уже упоминал мистер Невил: дамы верхом на пушечных лафетах. Дамы были крупнее нас раза в два, они улыбались и махали руками, при этом одежды на них не было никакой, а фоном служила пустыня.

— Дядя, а это что? — то и дело вопрошал Кассий.

Но мистер Дэниелс не позволял останавливаться и все гнал нас вперед.

И вот впереди забрезжил какой-то золотистый свет. Более того, вблизи стало ясно — перед нами море цвета. Это и был «сад», который мистер Дэниелс вез в Европу. Мы немного постояли на входе, а потом мы с Кассием и даже Рамадин

принялись носиться по узким дорожкам, оставив мистера Дэниелса рассматривать какой-то цветок. Велик ли был сад? Этого мы так и не выяснили, потому что ни разу не видели его полностью освещенным, прожекторы, представлявшие собой искусственное солнце, включались и выключались по очереди. В какие-то части сада мы так и не попали на протяжении всего плавания. Я даже не припомню, какой он был формы. Теперь-то кажется, что он явился нам во сне, что не могла десятиминутная прогулка по темному трюму привести в такое место. В воздухе то и дело возникал туман, и мы поднимали головы навстречу водной пыли. Некоторые растения были выше нашего роста. Попадались и маломерки, всего-то нам до лодыжек. Мы вытягивали руки на ходу, гладили и ласкали папоротники.

— Не трогать! — приказал мистер Дэниелс, ловя мою протянутую руку. — Это *Strychnos nux vomica.* Поосторожнее с ним — пахнет он приятно, особенно по ночам. Так и хочется расколоть эту зеленую скорлупу, да? Похож на фрукт баиль, растущий у вас в Коломбо, но только с виду. На деле это стрихнин. Вот это, цветками вверх, — это бругмансия, или ангельская труба. Вон то, цветками вниз, — датура, она же труба дьявола.

А вот этот цветок — из семейства *Scmphulariaceae,* норичниковых, тоже обманчив в своей красоте. Понюхаешь — и голова кругом.

Кассий нарочито потянул носом, театрально качнулся и «вырубился», придавив локтем несколько хрупких стебельков. Мистер Дэниелс подскочил и отвел его руку от безобидного на вид папоротника.

— Многим растениям дана удивительная сила, Кассий. Сок вот этого придает волосам черный цвет и заставляет ногти расти здоровыми и крепкими. Вон те синенькие…

— Сад на корабле! — Тайна мистера Дэниелса явно впечатлила Кассия.

— Ной… — тихо произнес Рамадин.

— Да. И вспомните-ка, как сказал поэт, океан — это тоже сад. Вот, подойдите сюда. Я тут на днях видел, как вы курите стебельки от плетеного кресла… вот это куда лучше.

Он согнулся, мы присели рядом, он сорвал несколько листьев в форме сердца.

— Это листья бетеля, — пояснил он, опуская их на мою раскрытую ладонь.

Потом шагнул дальше, достал из какого-то тайника щепотку гашеной извести, смешал с мелко наструганными плодами ареки, которые держал

в джутовом мешочке, и передал Кассию. Через несколько минут мы снова шагали по скудно освещенному проходу, жуя бетель. Этот мягкий уличный наркотик был нам знаком. Мистер Дэниелс был прав — уж для Рамадина-то он был всяко безопаснее, чем плетеное кресло.

— На свадьбах к кардамону и известковому тесту иногда добавляют золотую стружку.

Мистер Дэниелс выдал нам небольшой запас этих ингредиентов, а к ним — немного сушеных табачных листьев: их мы решили сберечь для своих предрассветных прогулок, когда можно будет сплевывать красную жидкость через перила в журчащую воду или в темное жерло корабельной сирены. Мистер Дэниелс провел нас по нескольким путям. Мы уже много дней находились в море, где цветовая гамма ограничивалась бело-серо-голубым, плюс несколько закатов. А в этом саду растения так и выпячивали зелень, синеву, желтизну — и краски нас ослепили. Кассий попросил мистера Дэниелса подробнее рассказать про яды. Мы втайне рассчитывали, что он укажет нам некое растение или злак, с помощью которого можно избавиться от какого — нибудь неприятного взрослого, но мистер Дэниелс отказался рассуждать на эти темы.

Мы вышли из сада и вновь шагнули в темноту. Проходя мимо расписанной стены, Кассий снова задал вопрос:

— А это что, дядя?

Потом мы вскарабкались по железной лестнице обратно на палубу. Лезть вверх оказалось тяжелее, чем вниз. Мистер Дэниелс опередил нас на целый пролет, и, когда мы выбрались на поверхность, он уже курил сигарету биди, завернутую в белую, а не в привычную коричневую бумагу. Он стоял, прикрывая сигарету левой ладонью, и ему вдруг пришло в голову прочитать нам длинную лекцию про пальмы мира, изображая по ходу, как они растут, как качаются — каждый вид и тип по-своему — и даже как они покорно клонятся на ветру. Он изображал пальмы в различных позах, пока все мы не расхохотались. Потом предложил нам сигарету, показал особый способ затяжки. Кассий жадно следил за ним, но мистер Дэниелс первому протянул сигарету мне, а уже потом она пошла по рукам.

— Необычная биди, — медленно проговорил Кассий.

Рамадин затянулся второй раз и попросил:

— Изобразите еще раз пальму, дядя!

Мистер Дэниелс удоволил нас еще несколько-

ми характерными позами.

— Это, понятное дело, корифа зонтоносная, или таллипотовая пальма, — пояснил он. — Именно она дает пальмовый сахар и пальмовый сок.

Потом он изобразил камерунскую королевскую пальму, которая растет в пресноводных болотах. Потом еще одну, с Азорских островов, за ней — нечто очень нежное из Новой Гвинеи, — руки его превратились в удлиненные листья. И еще он не забывал показывать, как каждая из пальм качается на ветру: какие суетливо, какие лишь слегка помавая стволом, чтобы подставить порыву самый узкий край листа.

— Аэродинамика — очень важная вещь. Деревья куда мудрее людей. Даже лилия лучше человека. Деревья — как дивные девы…

Мы до упаду хохотали над его лицедейством. А потом вдруг все разом бросились бежать. С воплями промчались сквозь полуфинал женского турнира по бадминтону и жахнули, как три пушечных ядра, во всей одежде в бассейн. Даже утянули за собой несколько складных стульев. Время в бассейне было оживленное, вокруг плескались девицы и младенцы. Мы выпустили из легких весь воздух, ушли на дно и стояли там, тихо помавая руками, словно пальмы мистера

Дэниелса, — жаль только, что он нас не видел.

Генераторная

Нам бы не ложиться допоздна, чтобы узнать, как живет судно по ночам, но мы ведь вставали до зари и к вечеру выдыхались. Рамадин предложил дневной сон — как когда мы были маленькими. В школе мы терпеть не могли этот дневной отдых, а теперь решили, что это дело весьма полезное. Правда, возникли определенные проблемы. Рамадин обитал по соседству с каютой, где какая-то парочка «хихикала», «стонала» и «скрипела» в середине дня, а в соседней со мной каюте некая дама играла на скрипке, и звук проникал ко мне сквозь железную переборку. Один скрип без всякого хихиканья, заметил я. Было даже слышно, как она чертыхается в промежутках между невыносимыми взвизгами и писками. Кроме того, жара в нижних каютах, где не было иллюминаторов, стояла страшная. Я не мог всерьез злиться на скрипачку, потому что понимал: она тоже обливается потом под тем минимумом одежды, который необходим для сохранения собственного достоинства. Я ни разу ее не видел, понятия не имел, как она выглядит и чего пытается добиться

в борьбе с инструментом. «Аккуратностью и богатством тона», свойственными мистеру Сидни Беше, у нее и не пахло. Она просто без конца повторяла отдельные ноты и гаммы, сбивалась и начинала все заново — воображаемая пленка пота на плечах и предплечьях, одинокие, занятые дневные часы в каюте, соседней с моей.

А еще нам не хватало общества друг друга. Словом, Кассий решил, что нам необходима постоянная «штаб-квартира», и мы выбрали под нее небольшую генераторную, через которую проходили, спускаясь в трюм. Здесь и в середине дня царили прохлада и полутьма, и здесь из одеял и позаимствованных ради такого дела спасательных жилетов мы устроили себе лежбище. Немного поболтав, мы крепко засыпали под громкий гул турбинных лопаток — так мы готовились к долгому вечеру.

Впрочем, наши ночные похождения были не слишком удачными. Мы никогда не могли разобрать, что именно видели, и когда ложились спать, мозги наши продолжали цепляться за леера взрослой жизни. В первую нашу «ночную стражу» мы укрылись в тени на прогулочной палубе, выбрали наугад одного пассажира и принялись следить за ним — просто чтобы понять,

куда он направляется. Оказалось, это тот самый актер из труппы, который наряжается «Хайдерабадским мудрецом», — мы уже выяснили, что имя его Сунил. Как ни удивительно, он привел нас к Эмили. Она стояла во тьме, облокотившись на перила, — на ней было белое платье, которое будто бы засияло, когда мы подошли ближе. Мужчина наполовину скрыл ее своим телом, а Эмили спрятала в ладони его пальцы. Было не разобрать, разговаривают они или нет. Мы все трое примолкли. Молчали и после, отказываясь обсуждать увиденное. Но я заметил, как Сунил сдвинул лямку на ее плече и прижался лицом к обнаженной коже. А Эмили запрокинула голову, будто глядя на звезды, только никаких звезд там не было.

В ранних моих воспоминаниях эти три недели в море выглядели бессобытийными. Только теперь, много лет спустя, когда мои собственные дети попросили рассказать об этом путешествии, я увидел его их глазами, и оно предстало приключением, более того — важной жизненной вехой. Ритуалом инициации. А на деле плаванье не добавило моей жизни величия, скорее отобрало его. Приближалась ночь — и я начинал тосковать по хору насекомых, крикам садовых птиц, болтовне

гекконов. На рассвете мне не хватало шороха дождя в кронах деревьев, мокрого асфальта на Буллер-роуд, вони горящей пеньки на улицах — с этого осязаемого запаха всегда начинался день.

В Боралесгамуве я зачастую просыпался рано и пробирался по темному просторному бунгало к дверям Нараяна. Обычно еще и шести утра не было. Я ждал, пока он выйдет, поплотнее затягивая саронг. Он кивал мне, и через пару минут мы уже шагали, стремительно и молча, по мокрой траве. Он был рослым мужчиной, а я — мальчишкой восьмидевяти лет. Шли мы босиком. Доходили до деревянного сарая в конца сада. Забирались внутрь, Нараян зажигал свечной огарок, сгибался, держа в руке желтый огонек, и тянул за веревку, которая оживляла генератор.

Итак, каждый мой день начинался с глухого подрагивания и постукивания этого существа, от которого шел восхитительный запах дыма и бензина. Одному лишь Нараяну были известны привычки и слабости генератора, выпущенного году этак в сорок четвертом. Постепенно генератор успокаивался, мы выходили на улицу — в последней предрассветной тьме я видел, как в дядином доме несмело зажигаются огни.

Потом мы оба попадали через калитку на Хай

— Левел-роуд. Немногие открытые лавки освещались одинокими лампочками. Мы покупали у Джинадасы яичницу на хлебе и съедали прямо посреди улицы, поставив возле ног чашки с чаем. Мимо катились, скрипя, запряженные буйволами тележки — возницы, да и сами буйволы, дремали. Я неизменно разделял с Нараяном завтрак после того, как он пробуждал генератор. Никак нельзя было пропустить эту общую трапезу на Хай-Левел-роуд, хотя через час-другой мне приходилось съедать еще один, более официальный завтрак вместе со всем семейством. Но было некое геройство в том, чтобы шагать с Нараяном по светлеющим сумеркам, здороваться с пробуждающимися лавочниками, смотреть, как он наклоняется над горящей пеньковой веревкой на табачном лотке и прикуривает свою биди.

В детские годы Нараян и повар Гунепала были моими постоянными спутниками, я проводил с ними больше времени, чем с родней, и, пожалуй, большему от них научился. Я смотрел, как Нараян откручивает лезвия газонокосилки, чтобы подточить, как нежно, раскрытой ладонью, смазывает велосипедную цепь. Во время поездок в Галле мы с Нараяном и Гунепалой спускались по крепостным укреплениям к морю и уплывали подальше,

чтобы они могли наловить на рифах рыбы к ужину. По вечерам меня, спящего, отыскивали в изножье кровати моей няньки Розалин, и дяде приходилось на руках нести меня в спальню. Гунепала, наш повар, — иногда сварливый и раздражительный — был перфекционистом. Помню, если что-то в стряпне вызывало у него претензии, он извлекал это заскорузлыми пальцами из кастрюли и отбрасывал метра на три, на цветочные клумбы: на куриную косточку или перестоявший тхакали тут же набрасывались дворняги, которые знали эту его привычку и всегда ошивались поблизости. Гунепала бранился со всеми — с лавочниками, с продавцом лотерейных билетов, с настырным полицейским, — но при этом вроде как прозревал некую вселенную, которой остальные не видели. За готовкой он воспроизводил всевозможные птичьи трели, которых в городе не услышишь, — явно запомнил с детства. Никто другой не относился столь трепетно к окружающим звукам. Помню, однажды он растолкал меня среди дня, взял за руку и заставил лечь на землю рядом с лепешкой буйволиного навоза, провалявшегося там большую часть дня. Он подтащил меня к самой лепешке и велел вслушаться в гомон насекомых, которые пировали внутри,

прокладывали туннели с одного фекального полюса на другой. В свободное время он обучал меня альтернативным, сугубо неприличным текстам на мотив популярных байл и заставлял клясться, что я никому их не стану петь, поскольку речь в них идет об известных и почитаемых лицах.

Нараян и Гунепала были незаменимыми и ласковыми моими наставниками в те ранние годы — думаю, именно благодаря им я так до конца и не уверовал в мир, к которому принадлежал. Они открыли перед мной три двери в иной мир. Покинув в одиннадцать лет родину, сильнее всего я тосковал именно по ним. Тысячу лет спустя я наткнулся в лондонском книжном магазине на книги индийского писателя Р. К. Нараяна. Я купил их все до единой и долго убеждал себя, что их автор — мой незабвенный друг Нараян. Сквозь фразы мне мерещилось его лицо, его долговязая фигура, склоненная над скромным столиком возле узкого окна его спальни, — он кропает главу про Мальгуди, пока тетушкин голос не призовет его по какому-нибудь делу. «Когда я отправлялся к реке совершать омовение, улицы были темны, лишь городские фонари перемигивались (если в них не кончилось масло) на нашей улице… На пути ждали меня привычные встречи. Молочник,

как раз начинавший свой обход, гнал перед собой белоснежную корову — завидев меня, он почтительно спрашивал: „Который час, господин?" Вопрос угасал без ответа, так как часов я не носил. Часовщик, сидевший в городской управе, взывал из-под своего полога: „Это вы?“ — то был единственный вопрос, заслуживавший ответа. „Да, я“, — произносил я неизменно и шел дальше».

Я знал, что именно такие детали и примечает мой приятель во время утренних прогулок по Хай — Левел-роуд. Я знал возницу с буйволовой упряжки, знал астматика — владельца табачного лотка.

А потом в один прекрасный день я учуял и на судне запах горящей пеньки. Постоял немного, потом пошел к трапу, где запах был сильнее, поколебался, куда дальше — вниз или вверх, — и стал подниматься. Запах шел из коридора на четвертой палубе. Я остановился там, где он был всего сильнее, опустился на колени и потянул носом у щели под металлической дверью. Тихонько постучал.

— Да?

Я вошел.

За письменным столом сидел добродушный на вид человек. В каюте имелся иллюминатор.

Он был открыт, дым от веревки с подожженным концом тянулся как по струночке над плечами незнакомца и уходил наружу.

— Да? — спросил он еще раз.

— Мне запах нравится. Вспоминается дом.

Он улыбнулся и указал на койку, куда можно было присесть. Открыл ящик стола, вытащил метровый примерно кусок веревки. Это была та же самая пеньковая веревка, которая тлела над табачными лотками на рынках Бамбалапития и Петта — да, собственно, и по всему городу, та самая, от которой поджигали купленные россыпью сигареты, а если вы просто пробегали мимо и хотели похулиганить, можно было от нее же подпалить фитиль петарды.

— Я тоже буду его вспоминать, — сказал незнакомец. — И другие вещи. Котемали. Бальзам. У меня они все в чемодане. Я ведь уехал навсегда.

Он ненадолго отвернулся. Будто бы впервые сказал самому себе это вслух.

— Как тебя зовут?

— Майкл, — ответил я.

— Станет одиноко, Майкл, заглядывай сюда.

Я кивнул, выскользнул за дверь и притворил ее.

Звали его мистер Фонсека, он ехал в Англию

учительствовать. После я навещал его каждые несколько дней. Он знал наизусть целые пассажи из разных книг и вот сидел целыми днями за столом, раздумывая над ними, прикидывая, что может о них сказать. Я почти не был знаком с миром литературы, он же заманивал меня туда странными, но занимательными историями, каждый раз прерываясь примерно на трети рассказа и добавляя, что когда — нибудь я обязательно узнаю, что там дальше.

— Я думаю, тебе понравится. Может, он еще отыщет этого орла.

Или:

— Они выберутся из лабиринта с помощью одного человека, которого вот-вот повстречают…

Иногда по ночам, выслеживая с Рамадином и Кассием взрослых, я пытался нарастить мясо на костях истории, которую он так и оставил незаконченной.

Был он учтив, а также тих чрезвычайно. Говорил с растяжкой и с запинкой. Даже тогда я видел по неспешным жестам, что он человек редкостный. Вставал он лишь по крайней необходимости, точно больной кот. Он не привык показываться на публике, хотя именно на публике ему и предстояло жить, когда он станет

преподавать литературу и историю в Англии.

Я несколько раз пытался выманить его на палубу, но ему хватало впечатлений от иллюминатора и того, что в него видно. У него были книги, горящая веревка, бутылки с водой из реки Келани, несколько семейных фотографий — и он не видел причин выбираться из этой капсулы времени. Так что, если выпадал мне скучный день, я забирался в его задымленное гнездо, и рано или поздно он принимался читать мне вслух. Рассказы и стихи оставались анонимными — и тем глубже врезались в память. Кроме того, была новизна в изгибах рифм. Мне было невдомек, что он цитирует строки, написанные с большим тщанием в некой далекой стране много веков назад. Он всю жизнь прожил в Коломбо, манеры и произношение у него были типично шри-ланкийские, но к этому добавлялись обширнейшие книжные познания. Случалось, он пел мне песню с Азорских островов или читал отрывок из ирландской пьесы.

Я зазвал к нему Кассия и Рамадина. Мистер Фонсека заинтересовался ими и потребовал, чтобы я поведал о наших приключениях на борту. Друзьям моим он тоже пришелся по душе, особенно Рамадину. Мистер Фонсека будто бы источал уве-

ренность и спокойствие, почерпнутые из книг. Он устремлял взгляд в непредставимую даль (легко было вообразить, как осыпаются листки с календаря) и повторял строки, начертанные на камне или на папирусе. Полагаю, запоминал он все это для того, чтобы прояснить свои собственные взгляды — как вот застегиваешь куртку, чтобы сохранить собственное тепло. Вряд ли мистеру Фонсеке грозило разбогатеть. Ему предстояла скудная жизнь учителя в какой-нибудь городской школе. Однако была в нем умиротворенность человека, твердо избравшего свой образ жизни. Такую умиротворенность и уверенность я видел только у тех, у кого под рукой надежные латы книг.

Понимаю, что портрет получается жалкий и достойный насмешек. Все эти потрепанные «пингвиновские» томики Оруэлла и Гиссинга,[10] переводы Лукреция с розовым обрезом, которые он вез с собой … Он, видимо, полагал, что в Англии, где его латинская грамматика вполне может сойти за знак отличия, его, азиата, ждет скромная, но хорошая жизнь.

Все гадаю, что с ним сталось дальше? Раз в

[10] Примечания: 10

Джорж Гиссинг (1857–1903) — английский писатель натуралистического направления.

несколько лет, как вспомню, иду и ищу в библиотечной картотеке имя «Фонсека». В первые годы жизни в Англии Рамадин поддерживал с ним связь. А я — нет. Да, я прекрасно понимал, что такие, как мистер Фонсека, точно рыцари-девственники из более опасных времен, прошли этим путем раньше нас, прошли той же дорогой, по которой теперь шагать и нам, где на каждом шагу — в этом нет сомнения — ждут отнюдь не стихи, а те же уроки, которые придется со всей жестокостью учить наизусть; так же отыскивать хороший и недорогой индийский ресторанчик в Люишеме, так же вскрывать и запечатывать голубые аэрограммы домой на Цейлон, а потом на Шри-Ланку, так же выслушивать насмешки и оскорбления, испытывать стыд из-за нашей манеры произносить букву «В», из-за нашей стремительной речи, а главное — из-за трудностей вхождения; а в конце, возможно, тихое приятие и славная жизнь в какой-нибудь похожей на эту каюту квартирке.

Мистер Фонсека видится мне в некой английской школе — на нем глухо застегнутый свитер, защита от английской стужи, — и я гадаю, долго ли он там прожил и остался ли там «навсегда». Или все-таки под конец ему сделалось невмоготу,

хотя для него Англия и была «центром культуры»? И тогда он возвратился домой дешевым рейсом «Эйр Ланка», на что ушло всего лишь две трети суток, чтобы начать все заново, сделаться учителем в какой-нибудь Нугегоде. «Лондон возвращенный». Стали ли эти выученные наизусть абзацы и строфы европейского канона, которые он привез с собой на родину, эквивалентом мотка веревки или бутылки с речной водой? Адаптировал ли он их, перевел ли, ввел ли в программу сельской школы, где доска стоит прямо под солнцем, а рядом пронзительно кричат лесные птицы? В Нугегоде, при всякой погоде?..

К этому времени мы уже обследовали почти все судно, мы знали, где проложены воздуховоды от турбин и как проникнуть в рыбный цех, — туда можно было проползти по шахте, через которую выкатывали тележки, — потому что мне нравилось наблюдать за работой рыбников. Однажды мы с Кассием примостились на узких балках над навесным потолком бальной залы, чтобы понаблюдать за танцующими. Была полночь. Через шесть часов, согласно составленному нами расписанию, битую птицу понесут с «ледника» на кухню.

Мы обнаружили, что засов на дверях арсенала

держится на честном слове, и, когда там никого не было, прогуливались внутри, трогали наручники и револьверы. Мы выяснили, что в каждой шлюпке имеются компас, парус, надувной плот и запас шоколадок — их мы, правда, со временем подъели. Мистер Дэниелс наконец-то поведал нам, где держит ядовитые растения: в огороженном закутке своего сада. Он показал нам *Piper mephisticum,* который «обостряет ум». Сказал, что вожди племен на тихоокеанских островах всегда жуют его, прежде чем начать важные переговоры о заключении мира. А еще там было кураре, росшее, можно сказать, в тайне, под мощной желтой лампой; мистер Дэниелс пояснил, что, попав в кровь, оно вызывает продолжительный транс с потерей памяти.

Было у нас и свое «неформальное» расписание, где день был расписан от момента, когда австралийка выходила перед рассветом кататься на роликах, до того подлунного часа, когда мы ждали под спасательной шлюпкой появления узника. Мы внимательно рассматривали его. На запястьях — железные обручи, сочлененные цепью длиной сантиметров сорок, чтобы можно было двигать руками. Ее запирал замок.

Мы молча следили за ним. Мы с ним никогда

не общались. Вот разве что однажды ночью он вдруг приостановился и уставился сквозь мрак в нашу сторону. Мы-то знали, что он нас не видит. И все же он будто бы ощущал наше присутствие, чуял наш запах. Два охранника нас не заметили, заметил лишь он. Внезапно рыкнул и отвернулся. Нас разделяло метров пятнадцать, на нем были наручники, и все равно мы перепугались.

Заклятие

Если отчеты о нашем путешествии в Англию и попали в тогдашние газеты, то только потому, что на «Оронсее» находился известный филантроп сэр Гектор де Сильва. Он взошел на борт в сопровождении своей свиты, состоявшей из двух врачей, одного знахаря, специалиста по аюрведе, юриста, жены и дочери. Они по большей части плыли в верхних эшелонах нашего лайнера и редко попадались нам на глаза. Ни один из них не принял приглашения отобедать за капитанским столом. Похоже, они были выше даже этого. При этом сэр Гектор, предприниматель из Моратувы, сколотивший состояние на самоцветах, каучуке и продаже земли, страдал опасным, возможно даже смертельным, заболеванием и плыл в Европу искать врача, который сумеет его спасти.

Ни один специалист-англичанин не согласился приехать в Коломбо и заняться его лечением, хотя за это предлагалось изрядное вознаграждение. Харли-стрит так и осталась на Харли-стрит, несмотря на все призывы британского губернатора Геркулеса Робинсона, который ужинал с

золотых тарелок в особняке сэра Гектора в Коломбо, и даже на то, что сэру Гектору пожаловали в Англии рыцарское звание — за его пожертвования на благотворительность. И вот теперь он сидел, как в коконе, в огромном двойном люксе на борту «Оронсея» и страдал водобоязнью.

Поначалу болезнь сэра Гектора не вызывала у нас ни малейшего интереса. За «кошкиным столом» вообще редко упоминали о его присутствии на борту. Слава его зиждилась на его огромном состоянии, а это как раз нас совсем не занимало. Наше любопытство воспламенило другое: что именно сподвигло его на это странствие?

А дело было так. В одно прекрасное утро Гектор де Сильва завтракал с друзьями на балконе своего особняка. Они перешучивались — так развлекаются в своем кругу люди, живущие в безопасности и достатке. В этот момент мимо дома проходил почтенный баттарамулла, монах-священник. Завидев монаха, сэр Гектор решил скаламбурить и произнес:

— А, вон идет муттарабалла.

«Муттара» означает «мочиться», «балла» — «собака». Получилось: «Вон идет собака, источающая мочу».

Замечание вышло остроумное, но бестактное —

тем паче что речь шла о святом человеке. Монах, расслышавший это оскорбление, приостановился, указал на сэра Гектора и проговорил:

— Будет тебе муттарабалла…

Засим достопочтенный Шри Сибхути, владевший, как утверждали, колдовством, направился прямиком в храм и пропел несколько мантр; судьба сэра Гектора де Сильвы была решена, его процветанию пришел конец.

Уже и не помню, кто поведал нам начало этой истории, но у нас с Кассием и Рамадином немедленно разгорелось любопытство, и миллионер, путешествующий «королевским классом», занял все наши мысли. Мы начали вызнавать о нем все что можно. Я даже написал своей якобы «опекунше» Флавии, принес записку, после чего она удостоила меня короткого свидания у входа в первый класс и сообщила, что решительно ничего не знает. Была она раздосадована — в записке говорилось, что речь идет о чрезвычайно срочном деле, и она ради этого оторвалась от крайне важной партии в бридж. Вся беда состояла в том, что за «кошкиным столом» на эту тему не особо распространялись. Недостаточно, с нашей точки зрения. Кончилось тем, что мы подступились к помощнику казначея (у которого, как заметил

Рамадин, был стеклянный глаз), и он поведал нам еще кое-что.

В августе, вскоре после истории с мимохожим монахом, сэр Гектор спускался по лестнице своего особняка. (Помощник казначея употребил выражение «сходил вниз по ступеням».) У подножия лестницы дожидался его терьер. В этом не было ничего особенного — песика обожала вся семья. Но тут, едва сэр Гектор нагнулся, ласковый и довольно игривый песик вдруг попытался вцепиться ему в шею. Сэр Гектор оттащил его, в ходе чего был укушен в правую руку.

Собаку в конце концов изловили и посадили на цепь. А тем временем доктор Фернандо, родич филантропа, обработал укус. Оказалось, что терьер с самого утра вел себя странно — носился по кухне, путался под ногами у слуг, после чего его изгнали с помощью метлы; он вернулся в самый последний момент, тихий и спокойный, и уселся у лестницы поджидать хозяина. Утром он никого не покусал.

Под конец дня сэр Гектор, проходя мимо конуры, погрозил терьеру забинтованным пальцем, а через двадцать четыре часа пес издох, причем у него проявились все симптомы бешенства. Однако «собака, источающая мочу» успела совершить

предначертанное.

Врачи приходили один за другим. Все почтенные эскулапы Коломбо были призваны для консультаций и поиска исцеления. Сэр Гектор считался самым богатым человеком в городе (за исключением нескольких подпольных торговцев оружием и драгоценными камнями, которые не афишировали своих состояний). В длинных коридорах особняка врачи переговаривались шепотом, отстаивая и уточняя свои методы борьбы с водобоязнью, которая уже начала разъедать находящееся наверху состоятельное тело. Благодаря поддерживающим процедурам, развитие болезни затормозилось — пациент получил отсрочку дней на двадцать пять. Терьера эксгумировали и еще раз проверили на бешенство. В Брюссель, Париж и Лондон полетели телеграммы. На «Оронсее» — ближайшем судне, отплывавшем в Европу, — на всякий случай забронировали все три каюты класса люкс. Лайнер делал остановки в Адене, Порт-Саиде и Гибралтаре — рассчитывали на то, что в одном из этих портов на борт наконец-то взойдет специалист.

Существовало и противоположное мнение: что сэру Гектору предпочтительнее остаться дома, ибо в тяжелых условиях плавания, да еще при

отсутствии надлежащей медицинской помощи, состояние его может ухудшиться; помимо прочего, судовой врач, как правило, был не первостатейным специалистом — эти обязанности исполнял какой-нибудь интерн лет двадцати восьми, у родителей которого имелись связи в судовой компании. Кроме того, из округа Моратува, где уже свыше века находилось фамильное поместье де Сильва, начали пребывать специалисты по аюрведе — они, как утверждали, уже многих вылечили от водобоязни. Они гнули свое: оставаясь на острове, сэр Гектор будет иметь доступ ко всем самым действенным местным растительным снадобьям. Они с пылом возглашали (на древних диалектах, знакомых ему с юности), что путешествие только отдалит его от этих источников исцеления. Поскольку причина заболевания была местного происхождения, и лекарство от него надлежало искать здесь же.

В конце концов сэр Гектор все же решил плыть в Англию. Вместе с богатством он приобрел несгибаемую веру в достижения европейской цивилизации. Пожалуй, именно в этом и состояла его фатальная ошибка. Плаванье продолжалось двадцать один день. Сэр Гектор вбил себе в голову, что из гавани в Тилбери его незамедлительно

отвезут к лучшему врачу на Харли-стрит, где, по его мысли, должна была дожидаться почтительная толпа, включающая в себя нескольких цейлонцев, в полной мере осведомленных о его финансовой мощи. Гектор де Сильва прочел один русский роман и мог себе все это вообразить, а в Коломбо ему предлагали понадеяться на доморощенную магию, астрологию и всякие растительные снадобья, рецепты которых были написаны каким-то крючковатым почерком. Он, пока рос, насмотрелся на местные методы лечения — например, быстро помочиться на ногу, чтобы снять боль от укола иголкой морского ежа. И вот теперь ему поют в уши, что от укуса бешеной собаки помогают семена черной умматаки или дурмана, вымоченные в коровьей урине, размолотые в порошок, — принимать внутрь. А ровно через сутки нужно принять холодную ванну и выпить пахты. Знает он эти знахарские рецепты. Четыре из десяти действительно помогают. Ему этого мало.

Тем не менее сэр Гектор де Сильва уговорил одного знахаря-аюрведа из Моратувы плыть с ним вместе и захватить в дорогу мешок местных трав и корней умматаки, выращенной в Непале. Так знахарь, наряду с двумя известными врача-

ми, оказался на борту. Медики жили в люксе по одну сторону от спальни сэра Гектора, а его жена и двадцатитрехлетняя дочь расположились в спальне по другую.

И вот посреди океана знахарь из Моратувы открыл свой корабельный сундучок, в котором находились сухие и жидкие снадобья, достал семена дурмана, загодя вымоченные в коровьей урине, смешал с пудрой из пальмового сахара, призванной перебить вкус, и помчался в каюту к миллионеру, дабы тот проглотил чашку этой смеси, похожей на микстуру от кашля, и запил ее, по собственному настоянию, добрым французским бренди. Ритуал этот происходил дважды на дню, иных обязанностей у знахаря не имелось. Остальную часть суток за здоровье филантропа отвечали два официальных врача, а знахарь из Моратувы мог разгуливать по судну, — впрочем, ему строго наказали, что прогулки его должны ограничиваться пределами туристического класса. Он, видимо, тоже не один день проблуждал по палубам, сетуя на отсутствие запахов на дочиста надраенном судне, и вот наконец-то учуял знакомый аромат горящей пеньки и вычислил его источник на четвертой палубе, помедлил у железной двери, постучал, дождался ответа, вошел

— внутри его приветствовали мистер Фонсека и мальчик.

На тот момент мы провели в море пять дней. Именно знахарь поведал нам новые подробности о Гекторе де Сильве — поначалу он был скуп на слова, но постепенно выболтал очень много интересного. Позднее мы познакомили его с мистером Дэниелсом, они сдружились, знахарь получил приглашение осмотреть сад, и они провели там много часов, дискутируя о гибельных свойствах растений. Кассий тоже сдружился со знахарем и немедленно выпросил у врача-южанина, который захватил с собой тайный запас, несколько листьев бетеля.

Фантастическая история человека, на которого пало проклятие, нас заворожила. Мы дорожили каждой подробностью, связанной с сэром Гектором, и постоянно жаждали новых. Мы вспоминали ночь отправления из Коломбо и пытались вспомнить — или хотя бы вообразить — носилки, на которых миллионера под небольшим углом поднимают по трапу. Впервые в жизни нас заинтересовали судьбы высших классов; постепенно стало ясно, что мистер Мазаппа, с его музыкальными легендами, мистер Фонсека, с его *песенками* Азорских островов, мистер

Дэниелс, с его травками, и даже «Хайдерабадский мудрец», казавшиеся нам до того чуть не ли божествами, на деле всего лишь мелкие сошки, удел которых — следить, как восходят и закатываются настоящие светила.

Дневные часы

Когда мистер Дэниелс предложил нам листья бетеля, сразу же стало ясно, что Кассию они не в новинку. К тому моменту, когда ему объявили, что он едет учиться в Англию, он уже умел пускать сквозь зубы красную струю и безошибочно попадать в любую цель — в лицо на плакате, в заднюю часть учительских брюк, в собачью голову, торчащую в окне машины. В надежде отучить его от вульгарной привычки родители, собирая его в дорогу, запретили брать с собой это снадобье, однако Кассий умудрился набить любимую подушку листьями и орехами бетеля. Во время бурного прощания в порту Коломбо, когда родители махали ему с причала, Кассий вытащил зеленый лист и замахал в ответ. Он так и не узнал, разглядели ли они, что к чему, только надеялся, что шалость его удалась.

Нам на три дня запретили пользоваться бассейном. После той выходки со стульями под воздействием «белой биди» мистера Дэниелса нам оставалось только шляться вдоль бортика и делать вид, будто вот сейчас возьмем и прыгнем.

Собравшись в штаб-квартире в генераторной, мы договорились выяснить все что удастся о соседях по «кошкиному столу» — каждый будет собирать сведения самостоятельно, а потом поделится с остальными. Кассий сообщил, что мисс Ласкети, томного вида дама, сидевшая с ним рядом, то ли случайно, то ли нарочно «задевала ему письку» локтем. Я объявил, что мистер Мазаппа, который надевал, превращаясь в Солнечного Луга, очки в черной оправе, делает это только для того, чтобы казаться вдумчивее и внушительнее. Однажды он достал их из нагрудного кармана и дал мне посмотреть — оказалось, что в них самые обыкновенные стекла. Все мы сошлись на том, что в прошлом у мистера Мазаппы скрыты какие-то тайны. Рассказывая анекдоты, он любил заключать их одной и той же фразой: «Как сказано в Писании, мне довелось в свое время полазить по сточным канавам».

Во время одного из таких военных советов Кассий сказал:

— Помнишь сральники у нас в Святом Фоме?

Была середина дня, он лежал, откинувшись на спасательный жилет, и посасывал сгущенное молоко из банки.

— Хочу сделать одну вещь, прежде чем сойду с

этого корабля. Я не я буду, если не посру в эмалированный капитанский унитаз.

Я снова прибился к мистеру Невилу. Он ведь вечно таскал с собой чертежи судна и запросто показал мне, где едят и спят механики, а где находится капитанская каюта. Показал, как тянутся во все помещения электрические провода и даже как именно раскинулись по нижним уровням «Оронсея» незримые механизмы. Об этом я уже имел представление. В моей каюте за стенной панелью постоянно вращался ведущий вал судового винта, и я часто прикладывал ладонь к нагретой древесине.

А главное, он рассказал мне о тех днях, когда занимался демонтажем, о том, как на «кладбище кораблей» океанский лайнер превращают в тысячи ни на что не похожих фрагментов. Я понял — именно это я, наверно, и видел тогда в дальнем углу гавани Коломбо, где резали на куски судно. Его превращали в полезный металл — из корпуса можно сделать речную баржу, а листы с трубы пустить на обивку цистерны. Мистер Невил объяснил, что для этой разрушительной работы всегда выбирают дальний угол гавани. Отделяют ценные сплавы, сжигают древесину, а резину и пластмассу переплавляют и закапывают в землю.

А вот керамику, металлические краны, электрические провода снимают и используют по новой, так что среди работников мистера Невила были, как мне представлялось, и мускулистые здоровяки, дробившие деревянными кувалдами стены, и те, кто снимал металлические пластины, электрическую фурнитуру и дверные замки, — этакая воронья работа. За месяц их труда судно исчезало бесследно, лишь в иле какого-нибудь эстуария оставался голый скелет, кости на корм собакам. Мистер Невил занимался своим ремеслом по всему миру, от Бангкока до Баркинга. И вот теперь он сидел со мной, припоминая все порты, в которых ему довелось побывать, и задумчиво крутил в пальцах кусочек голубого мела.

Работа, понятное дело, небезопасная, пробормотал он. И очень больно сознавать, что ничто не вечно под луной, даже океанский лайнер. «Даже трирема», — добавил он, пихнув меня локтем. Он участвовал в разборке «Нормандии» («самого красивого корабля за всю историю») — та лежала, обугленная и полузатопленная, в водах американской реки Гудзон.

— Но даже в этом есть нечто красивое… потому что на кладбище кораблей вдруг обнаруживается то, чему можно дать новую жизнь, что можно

возродить в автомобиле, или в железнодорожном вагоне, или в виде лопаты. Берешь частицу старой жизни и прививаешь ее к чужеродной новой.

Мисс Ласкети

Многие за «кошкиным столом» смотрели на мисс Ласкети как на старую деву, а мы — скорее как на развратницу (локоть на ширинке у Кассия). Была она гибка, но бледна, как голубка. Солнце не жаловала. Шезлонг ставила в прямоугольниках густой тени и читала там детективы — яркие светлые волосы поблескивали в добровольно избранном полумраке. Она курила. Они с мистером Мазаппой одновременно вставали после первого блюда, извинялись и выходили через ближайшую дверь на палубу. О чем они там говорили, осталось тайной. Друг другу они не подходили совершенно. Впрочем, смех у нее был очень необычный — этакие грубоватые раскаты. Удивительно, ведь исходил он из хрупкого тела скромницы. Раздавался он, как правило, в ответ на одну из скабрезных историй мистера Мазаппы. Ей случалось напустить на себя загадочность. Однажды мы услышали от нее фразу: «Почему, услышав слова *trompe l'oeil*[11] я непременно думаю об устрицах?»

---

[11] Примечания: 11
Оптическая иллюзия, обман зрения (фр.).

А так у нас не было почти ни единой зацепки относительно прошлого и профессии мисс Ласкети. Мы-то считали, что мастерски отыскиваем всяческие ключи, пока ежедневно обшариваем корабль, однако вера в истинность наших находок прирастала очень медленно. Какая-нибудь фраза за обедом, или случайный взгляд, или покачивание головой. «Испанский язык хорош для любви, верно мистер Мазаппа?[12] — заметила мисс Ласкети, а он подмигнул ей через стол. Мы постигали мир взрослых, просто находясь среди них, мы чувствовали, как проступают закономерности, — некоторое время все построения держались на этом вот подмигивании.

Одна из особенностей мисс Ласкети заключалась в том, что она очень любила поспать. Спала по ночам, да и днем, в определенные часы, с трудом держала глаза открытыми. Было видно, как она борется с собой. Чувствовалось в этой борьбе что-то трогательное, будто протест против несправедливого наказания. Вот она читает в шезлонге (а мы идем мимо) — голова медленно клонится на книгу. В ней была некая призрач-

[12] Примечания: 12

Аллюзия на песню «Spanish is the Loving Tongue», написанную Биллом Саймоном в 1925 г. на стихи Чарльза Бэджера Кларка (стихотворение «The Border Affair» было опубликовано в 1907 г.).

ность — мы выяснили, что она еще и лунатик, а на судне это крайне опасно. Я так и вижу ее — мазок белой краски на фоне темного вздымающегося моря.

Что ждало ее в будущем? Что таилось в ее прошлом? Она, единственная за «кошкиным столом», заставляла нас сделать движение навстречу, попытаться вообразить себе ее жизнь, придать ясность смутному ее отображению в неведомых гранях наших душ. Признаю, если бы не Рамадин, мы с Кассием не стали бы тратить на это силы. Рамадин всегда был самым щедрым из нас троих. Но как бы то ни было, мы впервые начали осознавать, что чужая жизнь может быть устроена несправедливо. Помню, у нее был при себе «пороховой чай», который она размешивала за столом в чашке кипятка, а потом, прежде чем удалиться, переливала в термос. Видно было, как вспыхивали ее щеки, когда напиток резко выдергивал ее из сна.

Сравнение «бледна, как голубка», видимо, пришло мне в голову под влиянием сделанного позднее открытия: оказалось, что с мисс Ласкети путешествуют штук двадцать-тридцать голубей — они где-то сидят в клетке. Она «сопровождала их в Англию», но упорно отказывалась обсуж-

дать вопрос, зачем именно едет с ними. Позднее я услышал от тетушки Флавии, что некая пассажирка из первого класса поведала ей: мисс Ласкети, мол, неоднократно видели в коридорах Уайтхолла.

Словом, получалось, что почти у всех за нашим столом, от молчаливого портного мистера Гунесекеры, владельца магазинчика в Канди, до балагура мистера Мазаппы и мисс Ласкети, были крайне интересные причины ехать в Англию — даже если об этих причинах не заговаривали или вовсе не подозревали. Несмотря на это, стол наш оставался самым «затрапезным» на «Оронсее» — а вот те, кто сидел за капитанским столом, постоянно превозносили значимость друг друга. Небольшой урок, преподанный мне в путешествии. Важные и интересные вещи, как правило, происходят тайно и вдали от власть имущих. За главным столом, где всех объединяет привычная риторика, не случается ничего по-настоящему значительного. Те, у кого уже есть власть, так и скользят по привычной, ими же для себя проложенной колее.

Девочка

Был на борту один человек, с виду ну начисто лишенный значимости, и это была девочка по имени Асунта. Мы не сразу узнали о ее существовании. Выглядела она заморышем, а из одежды у нее, похоже, имелось лишь выцветшее зеленое платье. В нем она и ходила все время, даже когда штормило. Была она глуха и от этого казалась еще более хрупкой и одинокой. Кто-то за нашим столом раз удивился, как это она наскребла денег на путешествие. Однажды мы видели, как она тренируется на батуте, и, когда она повисла в воздухе, окруженная безмолвным пространством, нам показалось, что перед нами совсем другой человек. Но стоило ей спрыгнуть на палубу, вся ее ловкость и сила куда-то пропадала. Была она бледна, даже для сингалезки. И очень хрупка.

Она очень боялась воды. Нам нравилось дразнить ее, когда она шла мимо бассейна: мы прикидывались, что сейчас ее обрызгаем, — потом Кассий вдруг передумал, прекратил это делать сам и нам запретил тоже. Тогда мы впервые заметили в Кассии проблеск милосердия, заметили,

что с этого момента он начал бросать на девочку застенчивые взгляды. Похоже, Сунил, «Хайдерабадский мудрец» из труппы «Джанкла», за нею присматривал. В ресторане он сидел с ней рядом — за тем же столом, что и Эмили. — и время от времени поглядывал на наш стол, изумляясь, как сильно мы шумим.

У Асунты был свой особый способ слушать. Слышала она лишь правым ухом, причем только если говорили очень внятно и прямо в него. Она улавливала дрожание воздуха и распознавала в нем звук, а уж потом слова. Общаться с ней можно было, лишь подойдя на интимно-близкое расстояние. Во время учебной тревоги стюард отвел ее в сторонку, чтобы разъяснить правила и последовательность действий, — а нам то же самое сообщили через громкоговоритель. Казалось, ее со всех сторон окружают барьеры.

Но как бы там ни было, Эмили и эта девочка оказались за одним столом чисто случайно. Эмили была блистательной светской красавицей, девочка — замкнутой недотрогой. Тем не менее они постепенно сдружились и вели все более укромные беседы — перешептывались, держались за руки. Рядом с глухой девочкой Эмили становилась совсем другим человеком.

Тонкая пленка утренней мороси на палубах была просто идеальна. Между выходами «Б» и «В» была полоска метров в двадцать, не загроможденная шезлонгами. Мы неслись туда босиком и давали себе волю — скользили по влажным доскам, врезались в ограждение или во внезапно распахнутую дверь: кто-то из пассажиров выходил на палубу поинтересоваться погодой. Однажды во время рекордного рывка Кассий повалил дряхлого профессора Разагулу Чодхарибхоя. Траектория скольжения значительно удлинялась, когда палубу драили и пассажирам полагалось находиться «внутри». По мыльной воде, пока ее не смоют, мы пролетали расстояние вдвое больше обычного, переворачивая ведра, наталкиваясь на матросов. Даже Рамадин принимал участие. Он как раз открыл для себя, что любит морской ветер в лицо больше всего на свете. Случалось, он часами стоял на носу, неподвижно глядя вдаль, загипнотизированный то ли видом, то ли какой-то мыслью.

Если бы кто захотел составить схему перемещений по нашему судну, убедительнее всего было бы нанести на одну карту разными цветами маршруты, разнесенные во времени. Вот так проходит, пробудившись в полдень, мистер Мазаппа,

вот так прогуливается в часы, свободные от забот о сэре Гекторе, знахарь из Моратувы. Вот Хейсти и Пнвернио выгуливают собак, а вот неспешно шествуют в салон «Далила» и обратно тетушка Флавия и ее партнеры по бриджу, вот австралийка описывает круги на рассвете, а вот «Джанкла» занимается своими законными и беззаконными делами и наша троица перекатывается, как шарики ртути, по всем палубам: остановка у бассейна, потом у стола для пинг-понга, потом понаблюдать, как в бальной зале мистер Мазаппа дает урок музыки, прикорнуть ненадолго, поболтать с одноглазым помощником казначея — когда он проходил мимо, мы пристально вглядывались в его стеклянное око, — иногда на часик-другой заглянуть в каюту к мистеру Фонсеке. Для нас эти беспорядочные перемещения уже стали привычными, как движения в кадрили.

В те давние времена мало у кого были личные фотоаппараты, так что никаких зримых свидетельств нашего плавания у меня не сохранилось. В моих архивах нет ни единого самого что ни на есть смутного снимка, сделанного на «Оронсее», нечему мне напомнить, как все-таки выглядел Рамадин во время нашего путешествия. Смазанный кадр — прыжок в бассейн, тело в

белом саване падает в море, мальчик ищет свое отражение в зеркале — все это осталось только в моей памяти. На верхней палубе, в «королевском классе» у некоторых пассажиров были ящичные фотоаппараты, и они часто увековечивали себя облаченными «к супу и рыбе». У нас за «кошкиным столом» мисс Ласкети время от времени делала наброски в желтом блокноте. Возможно, она зарисовывала сотрапезников, но нас это не интересовало — мы как-то не ожидали от соседей никаких художественных талантов Даже если бы она взялась вывязывать крючком наши цветные портреты, мы и то бы не встрепенулись. Зато любопытство наше пробудилось, когда мисс Ласкети принесла свой «голубиный» жилет и показала, как может гулять по палубе, рассовав по подбитым ватой карманам нескольких живых птиц.

То, чем мы занимались, было недолговечным по определению. Например, мы пытались понять, на сколько можем задержать в легких воздух, плавая взад-вперед вдоль дна бассейна. Потому что это было главное удовольствие, лучший момент за целую неделю — когда стюард бросил в бассейн сто ложек, а мы, вместе с конкурентами, ныряли за ними, чтобы собрать в еще детские руки как можно больше, каждый раз все сильнее

и сильнее напрягая эти самые легкие. За нами наблюдали, нас подбадривали, над нами хохотали, если с нас сваливались плавки и мы вылезали из воды, словно какие-то амфибии, прижимая к груди полные руки столовых приборов. «Я очень люблю ныряльщиков», — написал как-то Мелвилл, этот великий мореход. И если бы мне предложили тогда — или в любой день из этих двадцати одного — сказать, кем я хочу стать, когда вырасту, я ответил бы, что хочу стать ныряльщиком и до конца жизни участвовать вот в таких соревнованиях. О том, что такой профессии не существует, мы и не подозревали. И вот наши тонкие тела, почти слившиеся воедино с водной стихией, сбрасывали ценный груз и устремлялись в воду за новой порцией, выискивая на дне последние ложки. Один Рамадин не участвовал — берег свое хрупкое сердце. Впрочем, подбадривал нас, но явно скучая.

Кражи

Однажды утром пассажир, известный нам под именем барона К., уговорил меня помочь ему в одном деле. Ему нужен был маленький ловкий мальчишка, а он видел, как я ныряю в бассейн за ложками.

Начал он с того, что пригласил меня в салон первого класса и угостил мороженым. Потом, уже у него в каюте, попросил продемонстрировать мою ловкость — снять сандалии, забраться на мебель и как можно быстрее обогнуть комнату, не ступая на пол. Я удивился, однако прыгнул с кресла на стол, потом на кровать, а потом, уцепившись за дверь, перекинулся в ванную. По сравнению с моей каюта была очень велика, и через несколько минут я стоял босиком на толстом ковре и пыхтел, как собака. Тогда барон принес мне чаю.

— Чай из Коломбо, не корабельный, — заметил он и долил сгущенного молока.

Он знал толк в чае. На борту нам подавали какие-то помои, и я давно перестал их пить. Собственно говоря, потом я не пил чая долгие годы.

А барон подал мне последнюю чашку хорошего чая. Он разлил его в крошечные чашечки, так что на протяжении дня я их выпил несколько.

Барон заявил, что я ловкач. Потом подвел меня к двери каюты и указал на решетчатое окошко над нею. Окошко было прямоугольным, с небольшой задвижкой. Если его открыть, стекло ложилось плоско, горизонтально, будто поднос, — так можно было впускать внутрь воздух или выпускать его.

— Сможешь сюда пролезть?

Не дожидаясь ответа, он сложил ладони лодочкой и подсадил меня себе на плечи. Я оказался чуть ли не в двух метрах от пола. Я стал протискиваться в отверстие, стараясь не пораниться о стекло и о деревянную раму, — мне было страшно, что я упаду внутрь. Кроме прочего, открытое окно перекрывали две горизонтальные планки. Барон попросил меня протиснуться между ними, но у меня не получилось.

— Бесполезно. Слезай.

Я снова поставил колени ему на плечи, вцепился ему в смазанные бриллиантином волосы и стал спускаться, чувствуя, что не оправдал его ожиданий, — и это после мороженого и такого вкусного чая.

— Попробую кого другого, — пробормотал он себе под нос, будто меня уже и не было. А потом, заметив, как я огорчен, добавил: — Мне очень жаль.

На следующий день я застал барона у бассейна — он говорил с другим мальчиком, а потом они вместе ушли на верхнюю палубу. Мальчик был меньше меня, но, похоже, не такой ловкач, потому что через час он вернулся и говорил исключительно про чай и печенье, которыми его угощали. А еще через два дня барон снова пригласил меня к себе и попросил еще раз попробовать пролезть между планками. Сказал, что ему пришла в голову одна мысль. Когда мы проходили мимо стюарда, охранявшего вход в первый класс, барон снова сказал: «Мой племянник — выпьет со мной чаю». И через некоторое время я на совершенно законных основаниях вышагивал по коврам в салоне, высматривая на всякий случай Флавию Принс, поскольку это была и ее территория.

Барон попросил меня надеть плавки, и, когда я снял все остальное, он вытащил небольшой пузырек с машинным маслом, которое раздобыл в машинном отделении, и заставил меня намазаться густой черной жидкостью от самой шеи.

После чего снова подкинул меня к окошку, перегороженному двумя планками. И все пошло как по маслу — я угрем проскользнул между планками и спрыгнул на пол в коридоре, по другую сторону двери. Постучал — барон, ухмыляясь, открыл мне.

Уже через минуту он выдал мне купальный халат, и мы зашагали по пустому коридору. Он постучал в одну из дверей, ответа не последовало, тогда он подсадил меня, и я на сей раз пролез в обратную сторону, в одну из кают класса люкс. Отпер дверь. Проходя мимо, барон потрепал меня по волосам. Вошел, с минуту посидел в кресле, подмигнул мне, а потом принялся осматривать помещение. Выдвинул несколько ящиков. Через пять минут мы вышли.

Оглядываясь теперь назад, я предполагаю, что он убедил меня: эти проникновения в чужие каюты — такая игра, в которую он играет со своими друзьями. Ведь вел он себя совершенно беспечно и непринужденно. Прогуливался по каюте, небрежно засунув руки в карманы брюк, посматривал на всякие предметы на полках и на столе, иногда заглядывал в соседние комнаты. Помню, однажды он нашел толстую связку бумаг и бросил ее в свою спортивную сумку. Однажды

подцепил ножик с серебряным лезвием.

Пока барон все это проделывал, я таращился в иллюминаторы на море. Если иллюминаторы были открыты, до меня долетали крики игроков, которые метали кольца на нижней палубе. Это было интересно. Моя каюта, которую я делил с мистером Хейсти, размером была примерно с кровать в люксе. Однажды я забрел в ванную, полностью увешанную зеркалами, и вдруг увидел бесконечные шеренги собственных изображений — полуголых, покрытых черным маслом, только лицо коричневое, а волосы торчком. В зеркале стоял какой-то дикарь из «Книги джунглей», и его глаза, две белые лампочки, неотступно следили за мной. Как мне кажется, то был первый собственный образ или портрет, который отложился в моей памяти. Образ моей юности, который остался со мной на долгие годы: перепуганное, полуоформившееся существо, еще не ставшее никем и ничем. Потом я осознал, что в углу зеркальной рамы стоит барон и наблюдает за мной. Взгляд его был оценивающим. Можно подумать, он осознал, что именно я вижу в зеркале, будто и сам когда-то видел нечто подобное. Он бросил мне полотенце, приказал вымыться и одеться — вещи мои он принес в спортивной сумке.

Я с трудом дождался очередной встречи в нашей штаб-квартире, чтобы рассказать друзьям про это происшествие. Мне казалось, авторитет мой значительно вырос. Глядя вспять, я понимаю, что барон сделал мне некий незримый подарок, даровал нечто совсем маленькое, не больше карандашной точилки. А именно — умение совершать побег в иную сущность. Он указал мне на дверь, которую я отворил далеко не сразу, уже перевалив за двадцатилетний рубеж. Но смутные воспоминания об этих дневных часах остались со мной навсегда. Помню, однажды он постучал, не получил ответа, я проскользнул в окошко и впустил его — и тут мы с ужасом обнаружили, что в огромной кровати кто — то лежит, а прикроватный столик уставлен пузырьками с лекарствами. Барон молча поднял руку, подошел ближе и уставился на недвижное тело — позднее мы сообразили, что это был сэр Гектор де Сильва. Барон дотронулся до моего плеча и указал на металлический бюст миллионера, стоявший на гардеробе. Пока он обшаривал каюту на предмет ценных вещей — наверное, самоцветов, ведь именно за ними обычно и охотятся грабители, — я стрелял глазами туда-обратно, сравнивая металлическую голову с настоящей. Бюст венчала благородная

львиная голова, совсем не похожая на ту, что лежала на подушке. Я попытался приподнять бюст, но он оказался слишком тяжел.

Барон перелистал документы, однако ничего не взял. Только снял с каминной полки маленькую зеленую статуэтку лягушки. Нагнулся ко мне и прошептал: «Нефритовая». А потом, неуместно-интимным жестом, схватил фотографию девушки, стоявшую в серебряной рамке у постели больного. Через несколько минут, когда мы шагали по коридору, он сообщил, что девушка ему очень понравилась.

— Кто знает, — сказал он, — может, до конца путешествия мы еще и познакомимся.

Барон вынужден был сойти в Порт-Саиде — к тому времени по судну поползли слухи о кражах, хотя, разумеется, никто и не думал подозревать пассажира из первого класса. Я знал, что из Адена он отправил несколько посылок — на случай, если будет устроен обыск. Понятия не имею, зачем он воровал, — может, чтобы оплатить путешествие первым классом, может, чтобы выручить хворого брата или старого сообщника. Мне он казался человеком щедрым. Я до сих пор помню, как он выглядел, как одевался, хотя затрудняюсь сказать, был он англичанином или одним из тех

безродных бедолаг, которые незаконно присваивают себе титул. Знаю одно: в тех странах, где в окнах почтовых отделений вывешивают портреты преступников, я неизменно выискиваю его лицо.

Судно все шло на северо-запад, в высокие широты, пассажиры ощущали, что ночи становятся прохладнее. Однажды нам сообщили через громкоговорители, что после ужина на палубе перед Кельтской гостиной будет демонстрироваться фильм. К сумеркам стюарды установили на корме экран из жесткой ткани и вынесли проектор, который был загадочно накрыт. За полчаса до начала просмотра на палубе уже собралось человек сто гомонящих зрителей — взрослые сидели на стульях, а дети прямо на палубе. Мы с Кассием и Рамадином устроились как можно ближе к экрану. Кино мы смотрели впервые. В динамиках раздался громкий хруст, и на экране, который и сам был окружен уходящим к горизонту пурпурным небом, вдруг замелькали картинки. На наших глазах творилось волшебство.

До захода в Аден оставалось всего четыре дня, так что задним числом выбор «Четырех перьев» представляется мне несколько бестактным — там ведь проводится сравнение между же-

стокими арабами и цивилизованными, хотя и глуповатыми англичанами. Мы смотрели, как англичанину ставят клеймо на лоб (слышно было шипение горящей плоти), чтобы он мог сойти за араба, представителя вымышленного пустынного племени. Один из героев фильма, полковник, называл их «газарами — злобными, безответственными и агрессивными». Потом один англичанин ослеп, так как слишком долго таращился на пустынное солнце, и медленно бродил по экрану до самого конца фильма. Что до более тонких материй — джингоизм, отвага на поле боя, — их унесло крепким ветром в пролетающий мимо океан. Динамики были так себе, кроме того, мы не привыкли к монотонному британскому произношению. Мы просто следили за действием. А параллельно основному развивался побочный сюжет: судно входило в штормовую зону и, оторвавшись от драмы на экране, мы видели вдалеке двузубые вспышки молний.

Судно покачивалось под постепенно угасающими звездами, фильм же показывали одновременно в двух местах. На полчаса раньше его запустили в баре «Труба и барабаны» на палубе первого класса — там его демонстрировали куда менее шумливой компании из примерно

сорока хорошо одетых пассажиров, а когда они просмотрели первую бобину, эту часть сюжета перемотали и отнесли в металлической коробке к нашему проектору на палубе, чтобы прокрутить снова. В результате время от времени звуковое сопровождение одного показа долетало до зрителей другого и сбивало их с толку. Звук во всех колонках был выставлен на максимум, чтобы перекрыть гул морского ветра, и к нам то и дело приносило чужие контрапункты: разудалые песни из офицерской столовой — во время романтической сцены. Несмотря на это, на нашем показе царила атмосфера ночного пикника. Всем нам выдали по стаканчику мороженого, а пока мы дожидались, когда на первой палубе досмотрят очередную бобину и заправят ее в наш проектор, труппа «Джанкла» развлекала нас, жонглируя огромными мясницкими ножами, — и вдруг до нас долетели кровожадные вопли бросившихся в атаку арабов: звучали они из динамиков в первом классе. Труппа «Джанкла» быстро приладилась сопровождать эти вопли комичными движениями, а потом «Хайдерабадский мудрец» внезапно вышел вперед и сообщил, что брошь, утерянная неким лицом накануне, висит на объективе проектора. После этого из

наших рядов понеслись восторженные вопли — а на первой палубе как раз наблюдали за жестокой расправой над английскими солдатами.

Смотрели мы фильм на будто бы живом полотне — полощущемся на ветру экране. Сюжет был патетический, запутанный, уснащенный жестокостями, которые нам были понятны, и благородными поступками, которых мы не понимали. Кассий потом несколько дней твердил, что он из племени «оронсеев — злобных, коварных и агрессивных». Увы, вскоре над судном разразился давно ожидавшийся шторм, капли ударили в проектор, нагретый металл зашипел. Один из стюардов попытался раскрыть над проектором зонтик. Но тут порыв ветра сорвал экран, и он взмыл над волнами, будто призрак или спасшийся альбатрос, а образы все мелькали над океаном, теперь уже не имея никакой цели. Чем фильм закончился, мы так и не узнали. По крайней мере — до конца путешествия. Я выяснил это через несколько лет, взяв в библиотеке Далвичского колледжа роман А. Э. Мейсона, положенный в основу фильма. Оказалось, автор когда-то окончил этот самый колледж. Как бы там ни было, в тот вечер разразился первый из семи жестоких штормов, которые обрушивались на «Оронсей» в

два последующих дня. Только когда они стихли, мы спаслись от океанского буйства и ступили на землю настоящей Аравии.

Случается, что на мирный ландшафт Канадского щита, где я провожу летние месяцы, обрушивается шторм, и я просыпаюсь с мыслью, что завис в воздухе, на высоте приречных сосен; слежу за приближающейся молнией и слышу, как вслед за нею грохочет гром. Только с такой высоты и можно разглядеть хореографию и свирепство бури во всем ее величии. В противном же случае вам придется довольствоваться очень ограниченным ракурсом — столько же видит воробей, которого швыряет штормовым ветром. В доме дышат во сне тела, а рядом с ними собака — уши мучительно вздрагивают, будто сердце, того и гляди, разорвется или выскочит наружу. Я не раз видел ее морду в таком вот штормовом полусвете, словно вброшенную в скоростной поток некоего космического эксперимента, — гармоничные черты оттянуты назад. Все спят, раскачиваясь на волнах разбушевавшейся стихии, одна лишь река внизу кажется безмятежной. Когда по ней пробегает свет, возникают купы опрокинутых деревьев, словно воздетых ввысь на библейской ладони. Такое бывает каждое лето, по нескольку

раз. Я знаю, что так будет, и дожидаюсь раската грома вместе с собакой, с моей милой охотницей.

Разумеется, можно объяснить, откуда все это взялось. Я успел побывать в небезопасном месте, где внизу — никакой опоры на много миль. И все эти годы она все возвращается, эта ночь вдвоем с Кассием, когда мы вылезли на палубу, изготовившись, как нам казалось, к вполне безобидному приключению.

Возможно, дело было в том, что первый в нашей жизни фильм обманул наши ожидания. А так — я до сих пор не могу объяснить, зачем мы затеяли то, что затеяли. Может, просто потому, что это должен был быть и первый в нашей жизни шторм. Как бы там ни было, когда проектор увезли прочь, а стулья сложили, океан и небо над нашими головами вдруг объял краткий покой. Нам сказали: радар предупреждает о новом волнении. Но пока ветер стих и дал нам возможность подготовиться.

Разумеется, занять самое удобное для погибели место меня уговорил Кассий. Мы обсудили наш план возле шлюпок. Рамадин участвовать отказался, однако вызвался помочь нам все подготовить. Накануне мы наткнулись в кладовке,

которую забыли запереть после учебной тревоги, на кучу канатов и блоков. И вот в эту ночь, во время затишья, когда почти все пассажиры разбрелись из «кинозала» по своим каютам, мы забрались на открытую прогулочную палубу, расположенную у самого носа, и взяли на заметку разные предметы, к которым можно привязать себя канатом. Потом услышали оповещение капитана: ожидаются порывы ветра до восьмидесяти узлов.

Мы бок о бок легли на спины, и Рамадин торопливо привязал нас к каким-то треугольным креплениям и бетонным тумбам — он-то видел, что надвигается шторм. Проверил во тьме узлы и удалился.

Мы немного нервничали, но опасности не ощущали. На палубе не было ни души, и первые полчаса прошли без всяких происшествий, разве что начал накрапывать дождь. Кто знает, может, мы вышли из штормовой полосы? Но тут налетел шквал, вырывая воздух у нас изо рта. Нам пришлось отвернуть головы вбок, чтобы дышать, шквал будто бы заключил нас в металлические ножны. Поначалу мы думали, что будем лежать и зачарованно переговариваться о штормовых огнях, сиявших в вышине, а тут получилось, что мы

полузатоплены водой — струями дождя и волнами, которые перехлестывали через ограждение и перекатывались по палубе. Потом пелену дождя над нами озарила молния, за этим вновь стало темно. Отвязавшийся канат нахлестывал меня по горлу. Других звуков не было. Мы даже не понимали — кричим ли мы, пытаемся ли кричать.

Казалось, что каждая налетавшая волна разбирает судно на куски, с каждой волной нас окатывало — и только потом судно выпрямлялось. Мы прекрасно чувствовали этот опасный ритм. Когда «Оронсей» зарывался носом в рвущееся навстречу море, нас мотало вместе с волнами и нечем было дышать — корма же вздымалась в воздух, и винты, вырванные из привычной среды, ревели, пока вновь не опускались в море, а мы на носу вновь не подлетали ввысь.

На эти несколько часов на прогулочной палубе «Оронсея», когда мы уже и не чаяли остаться в живых, мир слился в одно. Я превратился в какую-то беспорядочную смесь, налитую в сосуд, — ни возможности избежать происходящего, ни возможности вырваться из того, что происходит. Уцепиться можно было лишь за одно: я не покинут. Со мной Кассий. Мы то и дело синхронно поворачивали головы при вспышках молнии

и видели безжизненные, осунувшиеся лица друг друга. Мне казалось, что я в западне. То и дело судно зарывалось носом в воду, соскакивало с гребня очередного могучего вала, а мы с Кассием так и оставались примотанными к какой-то помпе. Больше рядом никого не было. На внешней поверхности судна были лишь мы вдвоем, будто жертвы, приготовленные для заклания.

Волны дробились, перекатывались через нас и исчезали за бортом в стремительном темпе кошмара. Взмыли вверх. Рухнули в следующий провал. Безопасность нам обеспечивало одно — хоть какие-то познания Рамадина в области вязания узлов. Что именно он знал про узлы? Нам, в наших смертных судорогах, казалось, что ровным счетом ничего. Что ничто нас не удерживает. Чувство времени исчезло. Сколько мы там провисели, прежде чем в глаза нам ударил слепящий свет прожекторов с капитанского мостика? Даже в том жутком состоянии мы уловили скрытую за этим светом волну ярости. Потом свет погас.

Позднее мы узнали, что у штормов есть имена. Чубаско. Шквал. Циклон. Тайфун. Позднее нам рассказали, каково было на нижней палубе — как разлетелся в куски витраж в салоне «Каледония», как тут же замкнуло проводку, — и потом по

раскачивающимся коридорам перемещались фонари, озаряя качкими конусами света бары и рестораны, — искали отсутствующих пассажиров. Некоторые шлюпки сорвало с креплений, и они раскачивались в воздухе. Стрелка компаса в рубке описывала круги. Мистер Хейсти и мистер Инвернио сидели в темном собачьем отсеке, пытаясь успокоить своих питомцев, для ушей которых шторм был сущей мукой. Помощника казначея накрыло волной, и его стеклянный глаз вымыло из глазницы. И все это — пока мы запрокидывали головы назад, пытаясь понять, глубоко ли провалится нос на следующем спуске. Никто не слышал наших воплей — мы и сами друг друга не слышали, однако, как выяснилось на следующий день, оба сорвали голос, взывая к гулким туннелям моря.

Прошло, как мне казалось, несколько часов, прежде чем кто-то ткнул меня кулаком. Шторм не кончился, лишь слегка попритих, и тогда удалось послать нам на выручку троих матросов. Они перерезали канаты — разбухшие узлы было не развязать, — и нас снесли вниз по трапу в обеденную залу, временно превращенную в центр первой помощи. За последние часы несколько человек получили ушибы, еще несколько пере-

ломали пальцы. Нас раздели догола и закутали в одеяла. Сказали, что спать мы можем здесь. Помню, когда матрос подхватил меня на руки, от тела его шло немыслимое тепло. Помню, когда с меня сняли рубашку, кто-то сказал: волнами оторвало все пуговицы.

Я увидел лицо Кассия, с которого будто бы смыло всю замысловатость. Судя по всему, и я выглядел так же. Прежде чем оба мы уснули, Кассий наклонился ко мне и прошептал: «Помни, это мы не сами».

Через несколько часов напротив нас сидели три офицера. Нас разбудили, и я приготовился к худшему. Нас отправят обратно в Коломбо — или высекут. Но едва офицеры уселись, Кассий произнес:

— Это мы не сами, кто-то нас привязал, не знаю кто… они были в масках.

Это неожиданное откровение привело к тому, что расспросы сильно затянулись — пришлось убеждать офицеров, что мы не врем; впрочем, потертости, оставленные канатами на нашей коже, частично склонили моряков к тому, что сами мы с собой такого сделать не могли. Нам предложили корабельного чая, и мы уже было решили, что вранье сойдет нам с рук, но тут появился стюард

и объявил, что нас хочет видеть капитан. Кассий подмигнул мне. Он уже не раз намекал, что хотел бы посмотреть на капитанскую каюту.

Как мы выяснили впоследствии, один из офицеров уже успел побывать в каюте у Рамадина — о нашей дружбе было известно всем. Рамадин прикинулся спящим, а когда его разбудили и проговорились, что мы живы и нас не смыло за борт, немедленно сделал вид, что ничего не знает. Это произошло около полуночи. Теперь же шел второй час ночи. Нам выдали халаты и препроводили к капитану. Кассий стрелял глазами вокруг, рассматривая мебель, — и тут капитан крепко хлопнул рукой по столу.

До этого мы видели капитана либо скучающим, либо натянуто улыбающимся на всяких мероприятиях. Теперь же он устроил драматическое представление, будто выпущенный из клетки на свободу. Первые его упреки были арифметического толка. Он указал, что в нашем спасении участвовали восемь членов команды и заняло у них это более получаса. Итого: четыре часа времени — это по меньшей мере, — потраченные впустую, притом что среднее жалованье составляет столько-то фунтов в час, и, если умножить эту сумму на четыре, станет понятно, во что это

обошлось компании, плюс еще время старшего стюарда, которое оценивается во столько-то фунтов в час. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях оплата всегда удваивается. Плюс капитанское время, которое стоит еще дороже.

— Словом, вашим родителям выставят счет на девятьсот фунтов! — возгласил капитан, подписывая какую-то официальную на вид бумагу; я уже решил было, что это меморандум для британской таможни с просьбой воспрепятствовать нашему въезду в страну.

Капитан еще раз хлопнул рукой по столу, пригрозил, что в первом же порту нас высадят на берег, а потом прошелся по всем нашим предкам. Кассий попытался ввернуть фразу — как ему казалось, любезную и смиренную:

— Спасибо, что спасли нас, дядюшка.

— Закрой рот, ты… ты… — (подыскивает слово), — гаденыш!

— Котеныш, сэр.

Капитан осекся и уставился на Кассия, пытаясь понять, дразнится тот или нет. Потом, видимо, осознал свою нравственную недосягаемость:

— Нет. Хорек ты вонючий, вот ты кто. Азиатский хорек, мерзкий азиатский хорь. Знаешь, что я делаю с хорьками, которые забираются ко мне

в дом? Поджариваю им яйца.

— А я, сэр, люблю хорьков.

— Ты, гнусный, сопливый…

Повисла пауза — капитан подыскивал подходящие ругательства, — и тут дверь в капитанский сортир отворилась, и глазам нашим предстал его эмалированный унитаз. Мы разом утратили всякий интерес к капитану. Кассий, застонав, произнес:

— Дядюшка, живот скрутило. Можно я воспользуюсь…

— Вон отсюда! Гнус!

Двое матросов проводили нас в наши каюты.

Пристально рассматривая свой браслет, Флавия Принс беседовала со мной в слегка раскуроченном салоне «Каледония». Я получил от нее краткую записку с требованием немедленно явиться на беседу. Нас к тому времени уже подвергли нескольким допросам и всякий раз настоятельно напоминали, чтобы мы молчали о случившемся. А то будет еще хуже. Тем не менее на следующее же утро мы проговорились нескольким соседям по столу. В ресторане было почти пусто, завтракали с нами лишь мистер Дэниелс и мисс Ласкети, и им мы все выложили. Они отнеслись к случившемуся довольно беспечно.

— Для них это серьезное происшествие, а для вас — нет, — сказала мисс Ласкети.

Как мы узнали впоследствии, вообще-то, она очень уважала правила. А так ее больше всего впечатлили Рамадиновы узлы, которые, по ее словам, «спасли наши шкуры». Теперь же, приближаясь к Флавии Принс, я вдруг сообразил, что мне может влететь еще и от моей официальной опекунши. Она расстегнула и снова защелкнула пряжку на браслете, будто и не замечая меня, а потом выпалила неожиданно, будто птица клюнула в лоб собаку:

— Что вчера произошло?

— Был шторм, — откликнулся я.

— Да.

— Да, — повторил я.

— Так ты считаешь, что был шторм?

Я уже было подумал, что она ничего не заметила.

— Ужасный шторм, тетушка. Мы так перепугались. Прямо тряслись в кроватях.

Она промолчала, и я поехал дальше:

— Я даже вызвал стюарда. Потому что то и дело сваливался с койки. Ходил по коридору, пока не встретил мистера Питерса, и попросил его привязать меня к койке, а еще — не сможет ли он

привязать и Кассия. Кассий чуть руку не сломал, когда судно качнуло и на него что-то бухнулось. У него теперь рука на перевязке.

Тетушка взирала на меня отнюдь не с благоговением.

— Я вчера вечером видел капитана в лазарете, когда отводил туда Кассия. Капитан хлопнул Кассия по спине и назвал его смельчаком. А потом с нами спустился мистер Питерс и привязал нас к койкам. Рассказал, что какие-то дядя с тетей затеяли игру в спасательной шлюпке, когда разразился шторм, и покалечились, потому что шлюпка грохнулась на палубу. Вообще-то, они ничего, только его «штуковина» поломалась. Тоже пришлось оперировать.

— Я очень близко знаю твоего дядю…

Она сделала паузу, чтобы не испортить эффект. Меня это начало как-то насторожило, закралось подозрение, что о вчерашнем она знает больше, чем я думал.

— С твоей матерью я тоже знакома, слегка. Твой дядя — судья! Как ты смеешь так вот нагло врать — мне, которая изо всех сил печется о твоей безопасности!

Я разрыдался и забормотал сквозь слезы:

— Мне велели молчать, никому ничего не

говорить про мистера Питерса. Оказалось, что мистер Питерс — не моряк, а бандит, тетушка. Они решили ссадить его в первом же порту. Его ведь попросили привязать нас к койкам *для* безопасности, а он вместо этого вывел нас на палубу и привязал там — якобы в наказание за то, что мы помешали ему доиграть в карты с какими-то пьяницами. Так и сказал: «Вот как поступают с неслухами, которые мешают взрослым!»

Она уставилась на меня. Мне показалось — ее проняло.

— Никогда, никогда в жизни я еще не видела…

Следующие день-два выдались очень спокойными. Однажды вечером, в сумерках, мимо прошел ярко освещенный пароход, двигавшийся к востоку, и мы долго прикидывали, как бы дойти до него на веслах и вернуться в Коломбо. Старший механик приказал сбросить обороты, пока проверяли резервные системы электропитания, и некоторое время мы практически лежали в дрейфе в водах Аравийского моря. От неподвижности корпуса мы бродили как лунатики. Мы с Кассием прогулялись по спокойной ныне палубе. Только тогда, в этом покое, я полностью осознал всю силу шторма. Каково это — когда ни крыши над головой, ни пола под ногами. Ведь мы виде-

ли только то, что происходило на поверхности моря. А тут простая мысль, вырвавшись из тенет, ввинтилась мне в голову. Не только то, что видно глазу, таит опасности. Есть еще и глубинная сторона.

Среди поклажи знахаря из Моратувы был тайно припрятан мешочек листьев и семян пакистанской датуры. Знахарь приобрел это растение для сэра Гектора, дабы компенсировать недавно нанесенный его телу урон и приостановить развитие водобоязни. Датуре предстояло стать главным целебным снадобьем для миллионера. По поверьям, они действенна, но непредсказуема. Считается, что если ты смеялся в тот момент, когда срывали ее белый цветок, он заставит тебя много смеяться — или танцевать, если ты тогда танцевал. Датура (а цветок ее исключительно благоуханен по вечерам) помогает от лихорадки и туморов. Проказлива же она среди прочего тем, что под ее влиянием человек отвечает на любые вопросы без колебания и с полной искренностью. А Гектор де Сильва был известен как человек предусмотрительно неискренний.

Супругу миллионера Делию всегда выводила из себя его скрытность. А сейчас, спустя несколько дней после отплытия из Коломбо на «Оронсее» и

постоянного приема аюрведического снадобья, она наконец-то узнала всю подноготную своего мужа. На свет выплыла вся его юность до последней крошки. Он поведал, какой ужас внушали ему отцовские побои, вселившие ему в сердце подозрительность и недоверие, — в результате он превратился в не знающего жалости финансиста. Он рассказывал о тайных визитах к брату Чепмену — тот сбежал из дому с соседской девчонкой, в которую был влюблен, а у той имелся шестой палец. В Чилау палец этот ей отрубили, и с тех пор они тихо и мирно зажили в Калутаре.

Кроме того, Делия узнала, как именно ее муж отводил денежные потоки в тайные подземные русла. Большая часть этих сведений излилась из него, когда судно попало в зону циклона — Гектора де Сильву мотало взад-вперед на его огромной кровати, пока судно зарывалось то кормой, то носом в воду. Казалось, впервые за много недель он начал радоваться жизни — супруга же и прочие члены его свиты разбежались блевать по соседним каютам. Датура начисто освободила его от забот о будущем, от побочных эффектов болезни и от любых внутренних барьеров. Умела она наполнять любовной силой — превратив его из худосочного, отрешенного соложника в

благожелательного собеседника. Эти перемены в его настрое заметили не сразу. Шторм был в самом разгаре. В тот самый момент, когда Гектор де Сильва впервые за всю свою взрослую жизнь начал говорить правду, в машинном отделении произошло небольшое возгорание. Кроме того, невесть откуда повылезали карманники — им всегда приволье в такие вот моменты, когда опора уходит из-под ног и требуется физическая помощь. Кроме того, в чреве судна подмок целый трюм, наполненный зерном, и оно высыпалось наружу, нарушив центровку, и теперь там работали срочно отряженные матросы — они засыпали зерно обратно, а плотники восстанавливали перегородки. Трудились они в темноте, в самой глубине трюма, где лишь мерцал свет масляной лампы («работали, как могильщики», по известному выражению Джозефа Конрада), по пояс в зерне. А сэр Гектор тем временем излагал своей немногочисленной свите прелестную историю о том, как однажды в детстве на ярмарке в Коломбо ему довелось покататься на игрушечной машинке. Рассказывал он об этом снова и снова, и всякий раз будто бы впервые — жене, дочери и трем скучающим медикам.

Словом, что бы там ни ждало наше судно, кото-

рое болтало циклоном, будто гроб, сэру Гектору выпало несколько светлых деньков — он без всякой утайки разглагольствовал о своем богатстве, запретных удовольствиях, искренней любви к собственной жене, — а судно тем временем падало в глубины чрева морского, а потом выныривало, словно целакант в своем панцире, океан проявлял характер, машинистов бросало на раскаленные докрасна двигатели, и они обжигали руки, те, кто считал себя сливками восточного общества, натыкались в длинных коридорах на карманников, а оркестранты рушились с эстрады посреди «Тому виной моя юность», и тарелки подскакивали на пару сантиметров над углублениями в столешницах — а мы с Кассием лежали, распластавшись, на прогулочной палубе под дождем, падавшим с необычайно низкого неба.

Но постепенно на палубах и в ресторанах вновь появились люди. Мисс Ласкети приблизилась к нам с улыбкой и доложила, что старший стюард заносит все «особые происшествия» в корабельный журнал, так что мы, видимо, войдем в историю судна. Кроме того, произошел целый ряд «смещений». Пропали крокетные биты и шары, у кого-то во время шторма исчезли бумажники. Появился капитан и напомнил во всеуслышанье,

что у мисс Кардифф пропал фонограф, вычислить его местонахождение пока не удалось и любая помощь в этом деле только приветствуется. Кассий, незадолго до того сбегавший в трюм посмотреть, как механики крепят осушительную трубу, заявил, что фонограф играет именно там, громко и непрерывно. Члены команды пресекли череду потерь, объявив, что в шлюпке отыскалась некая сережка, и не могла бы владелица ее опознать и затем получить в кабинете у казначея. Про стеклянный глаз помощника казначея не было сказано ни слова, хотя по внутренней связи упорно продолжали перечислять недолгий список того, что уже найдено. «На данный момент обнаружены: одна брошь; одна дамская коричневая фетровая шляпка; один журнал, принадлежащий мистеру Берриджу, с непонятными иллюстрациями».

В том, что судно оправилось после шторма и вновь наступила ясная погода, была одна хорошая вещь. Узника вновь стали выводить на вечерние прогулки. Мы поджидали его и вот наконец увидели — он стоял, закованный в кандалы, прямо на палубе. Глубоко вдохнул, втягивая в себя как можно больше энергии ночного воздуха, потом выпустил ее обратно. По лицу разлилась

непознаваемая улыбка.

Судно на всех парах шло к Адену.

На суше

В Адене нам предстояло сделать первую остановку после отплытия из Коломбо, и уже за два дня до прихода судно охватила эпистолярная лихорадка. По традиции нужно было заполучить аденский штемпель на конверте, который отправлялся обратно в Австралию, или на Цейлон, или вперед, в Англию. Всем нам не терпелось увидеть землю, и с первыми лучами рассвета мы выстроились на носу посмотреть, как медленно подступает древний город, подобный миражу в окружении пыльных холмов. Аден уже в седьмом веке был крупным портом, он упомянут в Ветхом Завете. Именно там похоронены Каин и Авель, поведал мистер Фонсека, готовя нас к встрече с городом, которого сам никогда не видел. Здесь есть резервуары для воды, вырубленные из вулканических пород, соколиный рынок, квартал оазисов, аквариум и магазины, в которых продается товар из всех уголков света. Это будет наша последняя встреча с Востоком. После Адена останется всего полдня пути до входа в Красное море.

«Оронсей» остановил машины. Встали мы не

у причала, а на внешнем рейде. Пассажиров, желавших сойти на берег, перевозили на катерах — те уже окружили наше судно. Было девять утра, и без ставшего уже привычным океанского бриза воздух казался тяжелым и раскаленным.

Утром капитан огласил правила, касающиеся посещения города. Пассажирам разрешалось покидать судно не более чем на шесть часов. Детей должен был сопровождать «ответственный взрослый мужчина». Женщинам вообще не разрешалось сходить на берег. По этому поводу, естественно, возникло недовольство — подстрекателями стали Эмили и ее приятельницы по бассейну: они желали выйти в город и сразить его обитателей своей красотой. Мисс Ласкети тоже негодовала — ей хотелось осмотреть местных ястребов. Она рассчитывала доставить нескольких из них, с колпачками на голове, на борт. Мы же лезли из кожи вон, чтобы подыскать какого-нибудь безответственного взрослого, которого легко можно отвлечь. Мистер Фонсека хотя и испытывал любопытство, но судно покидать не собирался. Потом мы услышали, что мистер Дэниелс хочет посетить старый оазис, дабы ознакомиться с его флорой, — он сказал, что там стебли травы толщиной с палец, столько в

них воды. Кроме того, его интересовал какой-то «хат», о котором он беседовал со знахарем. Мы предложили свою помощь в доставке растений на борт, он ее принял, и мы торопливо полезли за ним следом по веревочным трапам на катер.

Нас тут же объял новый язык. Мистер Дэниелс был занят — рядился с погонщиком волов, который должен был отвезти нас туда, где растут большие пальмы. В толпе он уже не выглядел таким авторитетным, поэтому мы бросили его торговаться в одиночестве и тихонько ускользнули. Нас подманил к себе ковроткач, предложил чаю, и мы посидели с ним — смеялись, когда он смеялся, кивали, когда он кивал. А потом он сказал: у меня тут есть, мол, собачонка, и я хочу вам ее подарить.

Затем мы попрепирались на предмет того, что именно пойдем смотреть. Рамадин почему-то рвался в аквариум, построенный несколько десятилетий тому назад. Похоже, про аквариум ему рассказал мистер Фонсека. Когда мы решили, что сперва пойдем на базар, он надулся. Мы бродили по тесным лавкам, где торговали семенами и иголками, где изготавливали гробы и печатали рекламные объявления. Тут можно было узнать будущее по форме головы или вытащить

больной зуб. Парикмахер остриг Кассия, а потом засунул зловещего вида тонкие, стремительные ножницы ему в нос — убедиться, что у двенадцатилетнего мальчишки там нет ни волоска.

Я давно привык к изобильному хаосу рынка Петта в Коломбо — там пахло тканью для саронгов, которую разворачивали и кроили (от запаха першило в горле), и гарциниями, и подмокшими книгами в мягких обложках, разложенными на лотке. Здесь жизнь была поскуднее, без излишеств. По канавам не валялись перезревшие фрукты. Собственно, никаких канав здесь вообще не было. Было пыльно, сухо, будто воду еще не изобрели вовсе. Из всей жидкости имелась лишь чашка черного чая, которым нас угостил ковроткач, — к чаю прилагалась божественная, навсегда запомнившаяся миндальная конфета. Город был портовый — а в воздухе не ощущалось ни крупинки влаги. Выискивать влагу взглядом было непросто — крупицы ее таились по карманам: пузырек масла для женских волос, завернутый в бумагу, или резец, укутанный в промасленную ткань, защищавшую лезвие от пыли.

Мы вошли в бетонное здание у самого моря. Рамадин повел нас через лабиринт бассейнов,

по большей части заглубленных в землю. Никакой жизни в них не теплилось, если не считать дюжины угрей из Красного моря и нескольких блеклых рыбок, плававших в мелкой соленой воде. Мы с Кассием забрались на второй этаж, где пылились образчики таксидермии, разные морские существа; тут же держали всякие хозяйственные вещи — шланг, небольшой генератор, ручной насос, ведро со шваброй. Полный осмотр занял пять минут, а потом мы еще раз обошли все лавки, в которых уже побывали, — чтобы попрощаться. Клиентов у парикмахера так и не появилось, и он сделал мне массаж головы, облив волосы неведомыми маслами.

В порт мы явились раньше назначенного срока. С запоздалой предусмотрительностью решили дождаться мистера Дэниелса — Рамадин завернулся в галабею, а мы с Кассием обхватили себя руками: с моря тянул холодный ветер. Катера покачивались на воде, а мы гадали, которые из судов принадлежат пиратам: один из стюардов накануне обмолвился, что пиратство здесь — обычное дело. Сложенная чашечкой ладонь протянула нам жемчужную россыпь. Выловленные днем рыбины, рассыпанные у наших ног, были куда красочнее, чем аквариумные сидель-

цы, и посверкивали всякий раз, как их окатывали водой из ведра. Все, кто жил в этом краю, кормились от моря, а купцы, смеявшиеся и рядившиеся вокруг, были властителями мира. Мы понимали, что успели осмотреть лишь малую часть города, как бы заглянули в Аравию через замочную скважину. Мы так и не увидели подземных резервуаров и где там похоронены Каин и Авель, но за спиной был день слуховых и зрительных изощрений — ведь все разговоры пришлось вести с помощью жестов. Над внешним рейдом — или «тавахи», как назвал его лодочник, — небо начало темнеть.

Наконец мы увидели, как по причалу шествует мистер Дэниелс и тащит в охапке какое-то громоздкое растение. Сопровождали его двое худосочных носильщиков в белых костюмах — каждый нес по миниатюрной пальме. Мистер Дэниелс бодро поприветствовал нас, — похоже, наше исчезновение не особенно его озаботило, если озаботило вообще. Его стройные усатые помощники молчали, один из них передал мне небольшую пальму, вытер пот со лба и подмигнул, и я понял, что это Эмили, переодетая мужчиной. Рядом с ней стояла так же загримированная мисс Ласкети. Кассий взял у нее вторую пальму,

мы затащили оба растения на катер. Рамадин тоже поднялся на борт и все десять минут, пока катер шел от причала до внешнего рейда, сидел нахохлившись, запахнувшись в свое одеяние.

Вернувшись на «Оронсей», мы все втроем спустились в каюту Рамадина. Он распахнул полы галабеи, и мы снова увидели собачку ковроткача.

Через час мы поднялись на палубу. Успело стемнеть, огни на «Оронсее» сияли ярче, чем на берегу. Судно по-прежнему не двигалось. В ресторане громко и возбужденно обсуждали приключения прошедшего дня. Лишь мы с Рамадином и Кассием молчали. Тайно протащить на борт собаку — это было слишком невероятно, и мы знали: стоит нам издать хоть звук — и будет уже не сдержаться, мы выложим всю историю. Последний час прошел в хлопотах, мы попытались искупать зверюшку в тесной душевой кабине Рамадина, уворачиваясь от острых когтей; похоже, ей еще не доводилось иметь дело с карболкой. Обсушили мы собачку Рамадиновой простыней и оставили в каюте, а сами отправились ужинать.

Мы сидели в ресторане «Балморал» и слушали чужие рассказы — все перебивали друг друга. Женщины помалкивали. Помалкивала и наша

троица. Эмили прошла мимо нашего стола и, нагнувшись ко мне, поинтересовалась, хорошо ли мы провели день. Я вежливо поинтересовался, чем занималась она, пока мы были на берегу, и она ответила, что «так, носила кое-что». Подмигнула мне и отошла со смехом. Отправившись в Аден, мы, похоже, пропустили забавное зрелище, фокусника «гулли-гулли», который подплыл прямо к судну. На лодке его была дощатая надстройка — он стоял на ней прямо как на сцене и доставал из-под одежды цыплят. Под конец номера их набралось штук двадцать, все хлопали крыльями. Таких «гулли-гулли» на свете довольно много, и нас утешили: если повезет, в Порт-Саиде появится еще один.

Когда подали десерт, судно содрогнулось — запустили машину; мы вскочили и бросились на палубу понаблюдать, как наш замок медленно отползает от тонкой полоски света и возвращается в первозданную тьму.

В ту ночь мы по очереди стерегли песика. Он пугался резких движений — пока Рамадин не исхитрился затащить его на койку, обхватил руками и так уснул. Когда утром все мы открыли глаза, судно уже вошло в Красное море; в тот первый день после отворота к северу случилось

еще кое-что.

Преодолеть заслон, отделявший нас от первого класса, всегда было непросто. Два обходительных и непреклонных стюарда либо пропускали вас, либо отсылали восвояси. Но даже им не удалось остановить Рамадинова песика. Тот спрыгнул у Кассия с рук и выскочил из каюты. Мы долго носились по пустым коридорам, выискивая его. Но малыш, похоже, сразу метнулся на залитую солнцем вторую палубу, промчался вдоль ограждения, влетел в нижнюю танцевальную залу, взмыл по позолоченной лестнице и промчался мимо двух стюардов в первый класс. Они его было перехватили, но он увернулся. К еде, которую мы тайком притащили ему с ужина, распихав по карманам брюк, он и не притронулся. Возможно, теперь он искал, чем утолить голод.

Поймать его никому не удавалось. Пассажиры видели лишь смазанный промельк. А песика люди, похоже, не интересовали. Пышно одетые дамы склонялись, сюсюкая тонкими голосами, а он пронесся, даже не приостановившись, в эбеновую пещеру библиотеки, а после исчез. Кто знает, что ему понадобилось? Или что он ощущал сквозь, несомненно, бешеный стук своего сердечка? Он был просто изголодавшимся — или

насмерть перепуганным — зверьком в замкнутом пространстве судна, где коридоры превращались в тупики, уводя его все дальше от солнечного света. И вот песик протрусил по отделанному деревянными панелями, устланному коврами коридору и юркнул, воспользовавшись тем, что кто-то как раз выходил с тяжелым подносом, в приоткрытую дверь апартаментов люкс. Запрыгнул на просторную кровать, где недвижно лежал сэр Гектор де Сильва, и перегрыз ему горло.

Всю ночь «Оронсей» плыл по смирным водам Красного моря. На рассвете мы миновали малые острова неподалеку от Джизана — вдали смутно вырисовывался город-оазис Абха, солнечный отблеск выдал стекляшку, затаившуюся в белой стене. А потом город растворился в сиянии и исчез из виду.

Именно в этот час, незадолго до рассвета, по судну разлетелась весть о смерти сэра Гектора — за вестью поползли передаваемые шепотом слухи, что похоронят его прямо в море. Потом, впрочем, оказалось, что провести церемонию в береговых водах невозможно, придется телу потерпеть, пока мы выйдем на просторы Средиземного моря. Затем всплыли куда более ошеломительные подробности — как именно умер миллионер,

а за ними история, которую мы уже слышали от знахаря, о буддистском проклятии. Рамадин рассудил, что погубили сэра Гектора не мы, а судьба — это она привела собаку на борт. Кстати, больше песика никто никогда не видел, и мы пришли к заключению, что протащили под полой призрака.

За обедом почти все задавались одним вопросом: как собака попала на борт? И где она теперь? Мисс Ласкети полагала, что капитану не поздоровится. Его могут привлечь к суду за пренебрежение должностными обязанностями. Потом к нашему столу подошла Эмили и решительно осведомилась, не мы ли притащили эту собаку, и мы дружно попытались изобразить на лицах неподдельный ужас, отчего она расхохоталась. Единственным, кого ничьи мнения не интересовали, был мистер Мазаппа — он сидел, погрузившись в суп из бычьих хвостов. Его музыкальные пальцы в кои-то веки лежали на скатерти неподвижно. Он вдруг сделался одиноким и замкнутым, и я весь обед, пока вокруг судачили о сэре Гекторе, смотрел только на него. Я заметил, что мисс Ласкети тоже не сводит с него глаз, опустив голову, загородившись завесой ресниц. Она было даже накрыла рукой его

неподвижные пальцы, но он отстранился. Нет, тесные пределы Красного моря не лучшим образом действовали на обитателей «кошкиного стола». Похоже, после свободы диких океанских просторов, которые только что остались позади, здесь нам не хватало места. А еще оказалось, что Смерть все же существует — или по крайней мере существует Судьба в некоем непростом выражении. Похоже, наши авантюры оставались позади, словно дверь захлопнулась.

Проснувшись на следующее утро, я не почувствовал обычного желания увидеть друзей. Рамадин постучал условным стуком, но я не откликнулся. Неспешно оделся, один вышел на палубу. Свет над пустыней был виден уже не первый час, и около половины девятого мы миновали Джидду. На другом борту толпились пассажиры, пытавшиеся хоть глазком разглядеть в бинокль Нил, протекавший довольно далеко от берега. На палубе были одни взрослые, незнакомые, и я почувствовал себя неприкаянно. Поднатужился, вспомнил номер каюты Эмили, которая любила поспать подольше, и отправился к ней.

Милее всего Эмили была мне наедине. В такие минуты я всегда чувствовал, что чему-то учусь. Мне пришлось постучать дважды, прежде чем

она подошла к двери, завернувшись в халатик. Было уже почти девять, я давным-давно встал, она же едва проснулась.

— А, Майкл.

— Можно?

— Входи.

Она подалась назад и скользнула под одеяло, одновременно сбросив халатик, — все это будто одним движением.

— А мы еще в Красном море.

— Знаю.

— Прошли Джидду. Я видел.

— Раз уж пришел, сваришь мне кофе?

— Сигарету не хочешь?

— Пока нет.

— Захочешь — я тебе зажгу, ладно?

Я провел у нее все утро. Не знаю, что меня так смущало. Мне было одиннадцать лет. В этом возрасте знаешь мало. Я рассказал про песика — как мы протащили его на борт. Я лежал с ней рядом в постели, держал незажженную сигарету, делал вид, что курю, и вот она потянулась ко мне и развернула к себе лицом.

— Не вздумай, — сказала она. — В смысле, не вздумай никому про это рассказывать — про то, что рассказал мне.

— Мы думаем, это был призрак, — добавил я. — Призрак из заклятия.

— Наплевать. Отныне об этом ни слова. Обещаешь?

Я сказал, что буду молчать.

Так между нами родилась эта традиция. В определенные моменты жизни я рассказывал Эмили то, что не рассказывал больше никому. А позднее, много позднее, она стала рассказывать мне, часто повергая меня в изумление, о том, что происходит с нею. Всю мою жизнь Эмили оставалась особенной, не такой, как все.

Она коснулась моей макушки — жест этот значил примерно следующее: «Да ладно, забудем. Не переживай». Я же не отвернулся и продолжал на нее смотреть.

— Что? — Она подняла бровь.

— Не знаю, все это очень странно. То, что мы здесь. И что будет потом, в Англии. Ты останешься со мной?

— Сам знаешь, что нет.

— Но я там никого не знаю.

— Как же, а мама?

— Ее я знаю хуже, чем тебя.

— Неправда.

Я снова опустил голову на подушку и перевел

взгляд с нее на потолок:

— Мистер Мазаппа говорит, я не от мира сего.

Она засмеялась:

— Да вздор это, Майкл. К тому же чего в этом плохого? — Она нагнулась и поцеловала меня. — Давай свари мне кофе. Вот чашка. Воду можешь взять из-под крана.

Я встал и осмотрелся:

— Нет здесь кофе.

— Тогда закажи.

Я нажал кнопку внутренней связи и в ожидании стал рассматривать фотографию английской королевы, наблюдавшей за нами со стены.

— Да, — сказал я. — Кофе, пожалуйста, в триста шестидесятую каюту. Для мисс Эмили де Сарам.

Явился стюард, я встретил его у двери и принес Эмили поднос. Она приподнялась на подушке, потом вспомнила про халатик, потянулась к нему. То, что я увидел, поразило меня в самое сердце. Внутри пробежала дрожь — потом-то такое стало привычным, тогда же показалось смесью восторга и головокружения. Внезапно между моим существованием и существованием Эмили возник широкий провал, и преодолеть его мне уже не удалось никогда.

Если это было некой тенью желания, откуда

оно взялось? Может, оно принадлежало другому? Или все же было частью меня? Будто бы незримая рука протянулась из окружавшей нас пустыни и прикоснулась ко мне. Такое будет повторяться всю мою жизнь, но тогда, в каюте у Эмили, я впервые столкнулся с длительной его разновидностью. Только откуда это взялось? И чем она была, эта жизнь внутри меня, упоением или грустью? Пока это длилось, мне как будто не хватало чего-то насущного, например воды. Я поставил поднос и на четвереньках, по — собачьи, вскарабкался обратно на высокую постель. В тот момент я почувствовал, что многие годы был одинок. Был слишком оглядчив с близкими, будто вокруг нас рассыпали битое стекло.

А вот теперь я плыл в Англию, где уже три или четыре года жила мама. Сколько именно лет, я вспомнить не мог. Даже теперь, столько времени спустя, я не могу вспомнить эту очень значимую подробность — сколько именно длилась наша разлука: можно подумать, у меня, словно у зверька, отсутствовало точное представление о протекшем времени. Говорят, для собаки что три дня, что три недели. Однако, сколько бы я ни отсутствовал, мой пес всегда встречает меня мгновенным, любезным узнаванием — мы обни-

маемся и катаемся вдвоем по ковру в прихожей; и тем не менее, когда я наконец увидел маму на причале в Тилбери, она успела стать другой, незнакомкой, в сень которой пришлось входить с осмотрительностью. Не было ни собачьего объятия, ни катания, ни знакомого запаха. Как мне кажется, не было из-за того, что у нас произошло с Эмили — между нашими неблизкородственными душами — в то утро, в каюте охристого цвета, где ставни были закрыты, чтобы защитить от блеска Красного моря и от протянувшейся на многие мили пустыни.

Я встал в постели на четвереньки и встряхнулся. Эмили подалась вперед и обняла меня — так мягко, что я едва ощутил ее прикосновение, между нами так и не распался воздушный кокон. Мои горячие слезы, хлынувшие из внутренней тьмы, закапали на ее холодное предплечье.

— Ты чего?

— Не знаю.

Все необходимые, но ненадежные защитные сооружения, которые я вокруг себя настроил, которые окружали и обороняли, которые обозначали мои границы, внезапно рухнули. Я чувствовал себя обессиленным.

Видимо, на краткий миг я заснул, а проснулся

тогда, когда, почти не отстранившись, она протянула другую руку за плечо, будто хотела почесать спину, — на деле же за чашкой кофе. Скоро я распознал быстрые глотки — ухо мое упиралось в ее шею. Другой же рукой она по-прежнему сжимала мою — так, как не сжимал еще никто, придавая уверенности, которой, возможно, не существовало.

Взрослые всегда готовы к постепенному или внезапному развитию любого сюжета. Как и барону, мистеру Мазаппе предстояло сойти с корабля в Порт-Саиде и исчезнуть из наших жизней, — похоже, за несколько дней до Адена все его мысли заняло нечто нам непонятное. А мистеру Дэниелсу предстояло осознать, что Эмили не интересуют ни он сам, ни его растительный мир. А смерть мистера де Сильвы от укуса второй собаки выглядела скорее трагично, чем волнующе. И даже бессчастному капитану предстояло продолжать свое странствие и открывать все новые примеры хаоса среди человеческого груза. Похоже, все они сами создали свои узилища — или свои судьбы. А я же тогда, в той каюте, впервые взглянул на себя со стороны, тем же безразличным взглядом, каким смотрела на меня все утро из своего далека юная королева.

Выйдя от Эмили (и близости этой не суждено было повториться), я понял, что всегда буду связан с нею руслом некой подводной реки или жилой угля или серебра — ну, скорее все-таки серебра, поскольку для меня она всегда очень много значила. Наверное, тогда, в Красном море, я в нее влюбился. Хотя, когда я отстранился, притяжение, имени которого я не знал, сразу сошло на нет.

Много ли времени я провел с Эмили в этой кровати, вздымавшейся, как мне казалось, до самых небес? При грядущих наших встречах это никогда не поминалось. Она, может, даже и не помнила, сколько утолила моих печалей, сколько их забрала к себе — и надолго ли. Я до того не ведал силы чужого пожатия, не ведал, как пахнет рука сразу по пробуждении. Я до того никогда не плакал рядом с человеком, вызывавшим у меня почти непереносимые чувства. Она смотрела на меня сверху вниз, но во взгляде этом было понимание — как и в ее незначащих, но ласковых жестах.

Пишу об этом и не хочу, чтобы это закончилось, пока я наконец не пойму и не обрету, столько лет спустя, покой. Например, насколько далеко зашла наша близость? Я не знаю. Полагаю, Эмили не придала ей особого значения. Ею двигала

искренняя, но не слишком глубокая приязнь — но эти слова не умаляют ее поступка. «А теперь ступай», — сказала она, встала с постели, ушла в ванную и закрыла за собой дверь.

Разбитое сердце бессмертное чудо.

Как же тесно мне здесь.

— Мои сны, — говорит Эмили, склоняясь над разделяющим нас столом. — Тебе про них знать ни к чему, в них… меня со всех сторон окружает темнота, и в ней всюду опасность. Тучи перемалывают друг друга с грохотом. У тебя такое бывает?

Мы в Лондоне, прошло несколько лет.

— Нет, — отвечаю. — Я вообще редко вижу сны. Так мне кажется. Наверное, я вижу сны наяву, когда пишу.

— А я погружаюсь в них каждую ночь и просыпаюсь в страхе.

Была в этом страхе, сходном с чувством вины, одна странность — весь день Эмили оставалась очень ласкова и сердечна с другими. Мне казалось, в ней нет ни грана тьмы, вместо тьмы — желание утешать. Кто и что вызывало в ней такое? Время от времени в ней возникала отчужденность, она словно бы отгораживалась от окружавшего мира. И в такие моменты лицо ее

становилось недосягаемым. Словом, иногда она «отъединялась». А потом возвращалась — и это было истинным подарком.

Еще в ранние дни нашей дружбы она созналась, что опасность доставляет ей удовольствие. Тут она была права. Был в этом некий излом, нечто не вязавшееся с ее сердечностью и непосредственностью. В ней постоянно было что открывать — порой малости вроде того подмигивания в гавани Адена, когда она хотела, чтобы я разгадал загадку. При этом, как я понял гораздо позже, через долгие годы после «Оронсея», значительную часть своего мира она прятала от посторонних глаз, и ее мягкость, видимо, произрастала именно из этой тайной жизни.

Собачий загон

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что мистер Хейсти еще лежит в постели и читает роман.

— Доброе утро, молодой человек, — проговорил он, услышав, как я спрыгнул со своей верхней койки. — Отправляетесь к друзьям?

Накануне карточная игра не состоялась, меня разбирало любопытство почему. Впрочем, после смерти мистера де Сильвы многие изменили привычки и распорядок жизни. И вот мистер Хейсти сообщил мне, что отстранен от работы. Собаками он больше не заведует. Капитан все искал виноватого и вбил себе в голову, что одна из подопечных мистера Хейсти выбралась из клетки, просочилась в каюту первого класса и закусала мистера де Сильву до смерти. После смерти миллионера постепенно начала происходить странная вещь. Благородный титул де Сильвы словно бы отпал от него, его больше не поминали. Теперь в разговорах он звался не иначе как «покойником». Рыцарское звание оказалось столь же смертным, как и тело.

Я стоял против мистера Хейсти и с участием выслушивал рассказ о навете, но сам молчал. Беспородного аденского песика так и не отыскали. А для мистера Хейсти отставка означала, что теперь ему придется заниматься покраской-лакировкой под полуденным солнцем, а его помощник и карточный партнер мистер Инвернио станет заправлять собаками.

— Поглядим, как он сладит с веймаранихой О'Нила, — пробормотал мистер Хейсти.

Несколько позже, после бестолковых поисков песика Рамадина, мы все втроем забрели в собачий загон. На второй палубе, на своем двадцатиметровом отрезке, несколько животин пребывали почти в полной неподвижности, будто каждую хватил солнечный удар; на мордах — никакого выражения. Мы перелезли через ограждение и забрались в крытый собачий загон — все его насельники дружно лаяли, требуя, чтобы их выпустили. Инвернио пытался посреди этого гомона почитать одну из книг Хейсти. Когда мы подошли, он признал меня — видел же мою голову, свесившуюся с верхней койки, — а я в свою очередь представил его Кассию и Рамадину. Инвернио отложил «Бхагавадгиту» и обошел с нами все клетки, кидая кусочки мяса своим

любимцам. Затем вывел веймараниху. Снял с нее ошейник, погладил серую, гладкую, как яйцо, головку, а потом приказал собаке отойти в дальний конец гремящего лаем помещения. Собака не очень-то хотела с ним расставаться, но подчинилась команде «Взять! Взять! Взять!» и молча отошла, выбрасывая вправо и влево длинные лапы. В дальнем конце загона она повернулась и стала ждать. «Ола!» — заорал Инвернио, собака устремилась к нему грациозным галопом и, не добежав двух метров, прыгнула ему на голову. Все четыре лапы одновременно опустились Инвернио на плечи, да так крепко, что собачник завалился на спину, псина же вовсю лаяла и скребла его когтями.

Инвернио пытался вывернуться и что-то ворчал псине в ухо — та трясла головой, пытаясь уйти от человеческих приставаний. Мистер Инвернио принялся ее целовать, собака отвечала так, как отвечает женщина, которая любит целующего, но не хочет, чтобы ее целовали. Они несколько раз перекатились по палубе. Различить их взаимную приязнь можно было в одну секунду. Оба, похоже, совершенно потеряли головы друг от дружки. Обнажили зубы. Хохотали, гавкали. Инвернио дул псине в нос. Сидевшие по клеткам

собаки притихли, с завистью глядя на парочку, катавшуюся в пыли.

Мы смылись в самый разгар поединка, я в одиночестве забрался на третью палубу и провел там большую часть дня. Мистер Инвернио с его псиной слишком ярко напомнил мне Гунепалу, нашего повара, по которому я очень скучал, — как в часы трапез при нем всегда оказывалась свора узкоглазых дворняг, завывавших безумным хором, пока он размахивал куском мяса, и в конце концов он швырял мясо в самую их гущу. Днем я, бывало, натыкался на него — он спал с ними в обнимку. Вернее, это Гунепала спал, а они вежливо лежали с ним рядом, глядя друг на дружку, подергивая и поводя бровями.

Узника опять стали выводить на прогулки. С ночи перед приходом в Аден до самого того вечера, когда судно отчалило, мы его не видели; его почему-то держали в камере. Теперь же, когда мы шли по Красному морю на север, оказалось, что на узника навесили дополнительную цепь, которая тянулась от металлического ошейника к петле, прибитой к палубе метрах в двенадцати. Мы видели, как он шаркает туда-сюда. Обычно он ходил упругой походкой, теперь она казалась нерешительной. Возможно, он почувствовал, что

вокруг лежит иной мир, — ведь по обоим бортам можно было разглядеть ночную пустыню на берегах: по правую руку Аравия, по левую — Египет.

Эмили шепнула мне, что узника зовут Нимейер, что-то в таком роде. Имя было как будто европейское, хотя сам он был откровенным азиатом. На вид — помесь сенегальца с кем-то еще. Однажды мы подслушали, как он разговаривал со стражником, пока на него надевали новые цепи. Голос у него был глубокий, ровный, слова он произносил медленно. Рамадин решил, что таким голосом можно и загипнотизировать — один на один в пустой комнате. Рамадину вечно мерещились всякие опасности. Но мы запомнили это глухое молчание. Эмили сказала примерно то же самое. Кто-то рассказал ей: голос у него «привлекательный», но «пугающий». А вот когда я захотел узнать, кто именно, она немедленно замкнулась. Меня это удивило. Мне казалось, что ее доверие я уж всяко заслужил. А потом она добавила:

— Это не моя тайна. Чужая. Не могу тебе ее открыть, понимаешь?

Как бы то ни было, когда Нимейера снова стали выводить к нам на палубу на ночные прогулки, возникло ощущение, что восстановился некоторый порядок вещей. Вот мы сидим в шлюпке,

глядя на него, слушая адский скрип цепей о доски палубы. Дойдя до конца цепи, он останавливался и вглядывался в ночь, будто мог что-то там различить, будто где-то в далеком далеке, во тьме пустыни, некий человек вел учет каждого его движения. А потом он разворачивался и возвращался тем же маршрутом. В конце концов железный ошейник с него все-таки сняли. Мы услышали, как он обменялся со стражниками несколькими негромкими словами, а потом его увели вниз, в некое место, доступное нам лишь в воображении.

«Вниманию санитаров с носилками!

САНИТАРОВ С НОСИЛКАМИ ПРОСЯТ ПРОЙТИ К БАДМИНТОННОЙ ПЛОЩАДКЕ НА ПЕРВОЙ ПАЛУБЕ». Мы помчались смотреть. Это было одно из самых интересных объявлений, прозвучавших в громкоговорителе. Чаще объявляли про всякие лекции в салоне «Клайд», вроде «Прокладки подводного кабеля между Аденом и Бомбеем» или вот еще что мистер Блеклер расскажет «О недавно проведенной реставрации рояля Моцарта». До показа «Четырех перьев» капеллан выступил на тему «Крестовые походы: за и против. Зашла ли Англия слишком далеко?» Рамадин с мистером

Фонсекой сходили на эту лекцию и, возвратившись, доложили, что, по мнению оратора, Англия могла бы зайти гораздо дальше.

Поползли новые слухи: что, мол, тело Гектора де Сильвы, уже двухдневной выдержки, скоро захоронят в море. Капитан хотел дождаться, когда мы войдем в Средиземное море, но властная вдова де Сильвы настаивала на быстрых и приватных похоронах. Тем не менее не прошло и часа, а все уже знали, где и когда состоится горестная церемония. Стюарды огородили участок на корме, где предполагалось отслужить заупокойную, но зеваки быстро облепили канаты и столпились на металлических трапах — а некоторые глазели с верхних палуб. Те, кто был менее заинтересован, поглядывали сквозь окна курительной комнаты. В результате завернутое в саван тело — по сути, большинство из нас тогда увидели Гектора де Сильву впервые — пришлось нести по узкому проходу в неохотно расступавшейся толпе. Следом шли вдова, дочь и лекари (один в полном деревенском облачении), а также капитан.

Я еще ни разу не бывал на похоронах — а эти, можно сказать, отчасти даже состоялись по моей вине. Неподалеку я увидел Эмили, она бросила на меня предостерегающий взгляд, сопровождав-

шийся легким покачиванием головой. Я увидел барона — он стоял рядом с родственниками де Сильвы. Все обитатели «кошкиного стола» были налицо. Даже мистер Фонсека вылез из своей каюты и явился на церемонию. Он стоял с нами рядом, облаченный в черный сюртук и при галстуке — видимо, обзавелся ими в Форте у Кунданмала для грядущей английской жизни.

Мы смотрели вниз на мелкие фигурки свиты, обступившие складной стол, на котором возвышался бюст Гектора де Сильвы, окруженный цветами. Слова заупокойной молитвы едва до нас долетали. Голос священника истаивал и терялся в содроганиях ветров, прилетавших из пустыни. Когда родные подошли к обернутому тканью телу, все мы подались вперед, чтобы увидеть, какие там тайны передают мертвецу. А потом Гектор де Сильва соскользнул за борт и исчез в волнах. Не было ни винтовочного залпа, ни пушечных выстрелов, которые сулил нам Кассий. Больше до конца церемонии ничего не делали и не говорили. Только мистер Фонсека вполголоса декламировал соседям: «Море, кто счастлив тобой? Кто жаден до впадин свинцовых взамен толчеи городских площадей и роскоши залов дворцовых?» Строки Киплинга он произнес так,

что мы ощутили их мудрость и величие. А вот их сарказм в свете биографии Гектора де Сильвы до нас не дошел.

Во время чая состоялась лекция, подготовившая нас к прохождению Суэцкого канала: речь шла о Лессепсе и тысячах рабочих, умерших во время строительства от холеры, а также о значении канала для современной торговли. Мы с Рамадином пришли пораньше и обшарили столы с закусками на предмет самых вкусных бутербродов, — вообще-то, есть их предполагалось только после окончания лекции. В самой ее середине я наткнулся на Флавию Принс с двумя приятельницами по карточному столу — я как раз нес на предплечье несколько бутербродов. Тетя Флавия окинула меня дрогнувшим взглядом и, не сказав ни слова, прошла мимо.

В канал мы вошли по темноте, в самую полночь. Немногие пассажиры, дожидавшиеся этого события на палубе, успели задремать, и до них едва доносились звуки колоколов и гонгов, проводивших наше судно сквозь игольное ушко Эль-Суэца. Мы замедлили ход, чтобы принять на борт лоцмана-араба — он приплыл на катере и вскарабкался по веревочному трапу. Медленно поднялся на мостик, игнорируя окруживших его

высокопоставленных лиц. Теперь судно было в его власти. Это ему предстояло провести нас еще более мелкими водами и выставить угол, под которым мы сможем протиснуться в узкий канал — по нему нам предстоит пройти сто девяносто километров до Порт-Саида. Мы видели лоцмана сквозь ярко освещенные горизонтальные иллюминаторы мостика рядом с капитаном и двумя офицерами.

В ту ночь мы совсем не спали.

Через полчаса мы уже подходили к бетонному причалу, уставленному гигантскими пирамидами ящиков, — по нему, держась вровень с медленно идущим «Оронсеем», бежали люди с электрическими кабелями и багажными тележками. В омутах яркого желтого света кипела работа. Слышны были крики, свистки, а в один из моментов затишья раздался лай — Рамадин тут же решил, что это его аденский песик пытается прорваться на берег. Все мы втроем перевесились через ограждение, прерывисто дыша, вглядываясь. Эта ночь подарила нам самое яркое физическое воспоминание всего путешествия — я до сих пор время от времени наталкиваюсь на него во сне. Сами мы ничего не делали, но мимо судна скользил постоянно изменяющийся

мир, переменчивая, подвижная темнота. Под береговыми опорами скрежетали незримые тракторы. Краны склонялись к самой воде, будто бы норовя подхватить на ходу одного из нас. До этого в открытом море мы делали двадцать два узла, а теперь вроде как еле тащились, со скоростью допотопного велосипеда, будто неспешно разматывающийся свиток.

На носовую часть палубы забрасывали тюки. К нашему ограждению привязали канат — один из моряков перелетел по нему на пробегавшую мимо землю, чтобы подписать территориальные документы. Я заметил, как с борта вынесли какую-то картину. Быстрый взгляд исподтишка — что-то в ней показалось знакомым, возможно, я видел ее в каком-то салоне первого класса. Зачем картину сгружали на сушу? Я понятия не имел, было это безупречно законным или несомненно преступным деянием, — лишь несколько офицеров руководили происходившим, огни на палубах были погашены, делалось все как-то приглушенно. Лишь ярко светились окна на мостике с тремя неподвижными силуэтами — можно было подумать, что судно ведут марионетки, подчиняясь указаниям лоцмана. Иногда он покидал мостик, выходил на воздух и свистел в темноту какому

— то знакомцу, находившемуся на берегу. В ответ раздавался такой же свист, мы слышали всплеск — это цепь падала в воду, нос судна дергался, резко меняя направление. Рамадин все бегал с носа на корму и обратно в поисках своего песика. Мы с Кассием висели на шатких носовых леерах, откуда можно было наблюдать за мозаичной картиной внизу — торговец снедью со своим лотком, беседа механиков у костра, выгрузка мусора, — мы знали, что всех их, что все это больше никогда не увидим. Так мы и поняли незамысловатую, но очень важную вещь: в жизни каждому встретится много интересных чужаков, которые пройдут мимо, не обратив на нас внимания.

До сих пор помню, как мы шли по каналу, — видимость смутная, звуки с берега и сновидцы на палубе, равнодушные к этой разнообразной деятельности. Мы висели на леерах, подпрыгивая вверх — вниз. Мы запросто могли свалиться за борт и начать иную жизнь — принцами либо нищими. «Дядя! — вопили мы, если кто-то оказывался достаточно близко, чтобы различить наши фигурки. — Здорово, дядя!» И они махали в ответ, дарили нам улыбки. Всякий, кто замечал нас мимоходом, в ту ночь становился «дядей». Кто-то бросил нам апельсин. Апельсин из пусты-

ни! Кассий все кричал, просил биди, но его не понимали. Какой-то докер поднял что-то в руке, то ли растение, то ли животное, но слишком уж надежно его скрыла темнота.

Больше ни одно судно не шло в ту ночь по темным водам канала. Радисты чуть ли не сутки трудились ради того, чтобы мы вошли туда ровно в полночь. Под качающейся на проводе электрической лампой там, на берегу, сидел за складным столиком какой-то человек, заполняя какие-то формы; потом он передал их гонцу, а тот нагнал нас и бросил утяжеленные металлическим грузом бумаги к ногам одного из моряков. Мы даже не приостановились, миновали гонца, а также человека за столиком, лихорадочно заполнявшего таблицы обменных курсов, повара, жарившего на открытом огне нечто поражавшее своим ароматом, завлекающее в ночь, искушающее покинуть судно, на котором мы уже пятнадцать дней ели только европейскую пищу. Кассий сказал: «Вот так пахнет ладан». А судно шло дальше, направляемое этими чужаками. Мы собирали свежие дары этой земли, вели меновую торговлю предметами, которые забрасывали нам прямо на борт. Кто знает, какие сделки были заключены в ту ночь, какое взаимное обогащение состоялось,

пока подписывали официальные документы на вход и выход и передавали их обратно на берег, пока мы обрели и покинули недолговечный, непостоянный мир Эль-Суэца?

Мы вступили в утренний свет. Летучие тучи запятнали небо. Туч мы не видели на протяжении всего пути — если не считать тех, которые черными горами сгущались над судном и низвергались на нас во время штормов. На подходе к Порт-Саиду взметнулся в небо и повис над нами песчаный смерч, последний судорожный вздох Аравии, который спутал все сигналы радаров. Именно поэтому приход к Эль — Суэц был рассчитан точно на полночь — чтобы достичь Порт-Саида при дневном свете, когда можно управлять судном не вслепую. Словом, в Средиземное море мы вошли с широко открытыми глазами.

Незадолго до тридцатилетия я вдруг ощутил острую потребность снова повидаться с Кассием. Я продолжал дружить с Рамадином, часто проводил выходные в его семье, Кассия же не видел с того дня, когда мы бросили якорь в Англии.

И вот, как раз когда меня обуяло желание встретиться, я наткнулся на объявление в одной из лондонских газет. Была там и его фотография. Я бы его не признал, но рядом стояло имя. Он стал

старше, волосы потемнели, — наверное, и я столь же далеко ушел от того мальчика, плывшего в Англию в пятидесятые годы. Объявление сообщало об открытии выставки его картин. Тогда я отправился в город, в галерею на Корк-стрит. Ехал я не столько полюбоваться его творчеством, сколько повидаться с ним — по возможности засесть за долгую трапезу и говорить, говорить, говорить. Я плохо представлял, что с ним сталось после тех трех недель, хотя и знал, что он стал довольно известным художником. К великому моему удивлению. Он остался таким же хулиганом? — гадал я. Остался таким же безрассудным, каким казался мне тогда? Ведь, в конце концов, некоторые частички Кассия так и осели в моем организме. Я еще раз посмотрел на объявление, которое вырезал из газеты, — на фотографии Кассий стоял, прислонившись к белой стене, вид у него был слегка воинственный.

А вот в галерее я его не застал. Была суббота, середина дня. Мне сказали, что выставка открылась несколькими днями раньше, и на открытии Кассий присутствовал. Я плохо представлял себе обычаи этого мира. Немного расстроился, что не застал старого приятеля, однако это оказалось не так важно. Потому что я отчетливо увидел Кассия

в его работах. Крупные полотна занимали три зала в галерее Уоддингтон. Всего их было около пятнадцати. И все они рассказывали о той ночи в Эль-Суэце. Те самые желтые огни над ночным копошением, которые я все еще помнил, вернее, стал вспоминать в ту субботу.

Открытый огонь. Дряхлая учетная книга, которую лихорадочно заполняет писец за столиком, в студеном ночном воздухе. Поначалу картины показались мне абстракциями. Их действие будто происходило на самом краю или сразу за краем обычных цветов. Но едва я понял, где нахожусь, все переменилось. Я даже отыскал Рамадинова песика — тот смотрел на меня с катера. Все это обогатило меня, хотя я не понимал почему. Видимо, мне стало ясно, насколько мы были близки, почти как братья. Ибо и он запечатлел в памяти людей, за которыми я наблюдал в ту ночь, с которыми мы ощутили такое единение и которых больше никогда не видели. Только там. В том ночном городе из другого мира. Мы об этом никогда не говорили, но, видимо, оба это поняли. И теперь эти люди были рядом.

Я отыскал книгу для посетителей, где полагалось оставлять свои отзывы. Были среди них напыщенные, даже заумные, некоторые своди-

лись к одному: «Прелестно!» На одной из страниц во всю ширину было нацарапано нетвердой рукой: «ВЧЕРА НОЧЬЮ СТАРУШКУ ИЗУВЕЧИЛИ».[13] Видимо, писал нетрезвый приятель Кассия. Больше на этой странице никто ничего не изобразил, фраза осталась в гордом одиночестве. Я немного полистал страницы и натолкнулся на имя мисс Ласкети — милая похвала таланту Кассия. Я пометил число и написал: «Пустынное племя оронсеев — злобных, коварных и агрессивных». Еще добавил: «Жаль, что не застал. Майна». Без адреса.

Вышел наружу, но что-то меня удержало, я решил еще раз пройти по галерее — на сей раз меня обрадовало, что внутри почти пусто. А когда понял, что именно потянуло меня обратно, сделал еще один круг, чтобы убедиться. Я где-то читал, что, восхищаясь ранними фотографиями Лартига, зрители не сразу понимали, что их привлекает, пока наконец кто-то не указал, что суть в естественном взгляде маленького мальчика с фотоаппаратом: он смотрит снизу вверх на взрослых, которых фотографирует. В тот день, в галерее, я увидел все точно под тем углом, под

[13] Примечания: 13

«Little old lady got mutilated last night» — из песни «Werewolves of London» американского автора-исполнителя Уоррена Зивона с его альбома «Excitable Boy» (1978).

которым мы с Кассием смотрели в ту ночь с леера — вниз на мужчин, работавших в омутах света. Угол был приблизительно в сорок пять градусов. Я снова висел на леере и наблюдал — и там же находился Кассий, когда создавал эти картины. Мы в тот миг говорили всем им «прощайте». Прощайте.

Сердце Рамадина

Я прожил большую часть жизни, зная, что не могу дать Кассию ничего полезного. А вот Рамадину я как раз мог кое-что дать. Он позволял мне чувствовать привязанность. Кассий будто взывал ко всем: оставьте меня в покое. Это я увидел даже в его картинах, хотя они и воспроизводили ту ночь в Эль — Суэце. Но мне всегда казалось, что я мог бы помочь Рамадину в трудный момент. Если бы я только знал. Если бы он пришел ко мне и все рассказал.

В начале семидесятых я ненадолго уехал работать в Северную Америку и там получил телеграмму от дальнего родственника. Помню, как раз был мой тридцатый день рождения. Бросив все дела, я улетел ночным рейсом в Лондон, снял там номер в гостинице и поспал несколько часов.

В полдень я доехал на такси до Милл-Хилл и высадился у маленькой часовни. У входа промелькнула сестра Рамадина, Масси, потом, уже внутри, я увидел ее идущей по проходу. После дружбы в ранней юности виделись мы редко.

Собственно, ни Рамадина, ни его родных я не видел целых восемь лет. Полагаю, все мы внутренне изменились. В одном из последних писем Рамадин написал мне, что Масси «вращается в богемных кругах» — работает на телевидении, на Би-би-си, в одной из музыкальных программ, что она честолюбива и крайне умна. Что бы он ни сказал про Масси, меня бы это не удивило. Она была моложе нас, приехала в Англию годом позже.

Собственно, я гораздо ближе был знаком с ее родителями, трогательной парой, у которой вырос этот очень трогательный сын. Отец Рамадина был биологом, и, когда ему приходилось занимать меня разговором, пока никого другого поблизости не было, он всегда заводил речь о моем дяде, судье. Как мне представляется, на профессиональном поприще мой дядя и отец Рамадина достигли примерно одинаковых высот. При этом мистер Рамадин оставался почти в полном невежестве относительно повседневной жизни (гаечные ключи, завтраки, расписания поездов), зато его супруга, тоже биолог, все за него организовывала и делала вид, что ей нравится жить в его тени. Их жизнь, их работа, их быт служили своего рода лестницей, по которой должны

были подниматься вверх их дети. В подростковые годы я стремился проводить как можно больше времени в их упорядоченном, тихом и спокойном доме на Милл-Хилл. Из-за болезни Рамадина, его слабого сердца, жили они настороженно и приглушенно. Будто бы под стеклянным колпаком. Мне с ними было легко.

И вот я возвратился в те же места. Когда после похорон мы шли к дому Рамадина, мне показалось, что я падаю сквозь ветки дерева, на которое мы оба залезали много лет назад. Мы вошли в дом — он вроде как уменьшился, миссис Рамадин стала совсем хрупкой. В обрамлении седых прядей ее суровое лицо казалось красивее, мягче — потому что в былые времена она была с нами строга, хотя и великодушна. Одна Масси решалась бунтовать против материнских установлений, да и бунтовала почти всю жизнь.

— Слишком давно тебя тут не было, Майкл. Вечно ты в отлучке.

Слова ее были нацеленной на меня стрелой, выпустив ее, она подошла и позволила себя обнять. В прошлом мы вряд ли касались друг друга. В отрочестве я называл ее «миссис Эр».

Так я снова оказался в доме на Терракотта-роуд. В узкой прихожей какие-то люди приносили

родителям свои соболезнования, потом переходили в гостиную, там диван, группка низеньких столиков и картины оказались точно на тех же местах, где были в моей юности. Наше прошлое сохранилось в неприкосновенности — маленький телевизор с кинескопом, те же фотографии Рамадиновых бабки и деда перед их домом в Мутвале. Прошлое, привезенное в эту страну, так и не истребили. Добавилось лишь одно: на каминной полке стояла фотография Рамадина в выпускной мантии Лидского университета. Плюмаж оказался ему не к лицу и ничего не скрывал. Рамадин выглядел осунувшимся, будто смертельно усталым.

Я подошел поближе и рассматривал фотографию. Вдруг кто-то схватил меня за локоть, намеренно вдавив пальцы в плоть, и я обернулся. То была Масси, и внезапно, с даже избыточной быстротой мы ощутили какую-то пугающую близость. Чуть раньше я видел ее в часовне — она прошла по проходу между отцом и матерью, села в первом ряду и сразу же склонила голову. В вестибюле, где приносили соболезнования, ее не было.

— Ты приехал, Майкл. А я и не надеялась.

— Почему же?

Ее теплые ладошки коснулись моего лица, а потом она отошла к другим — переговариваться, согласно кивать, раздавать дежурные объятия. Я ничего не видел, кроме нее. Я искал в ней черты Рамадина. Особой переклички между ними никогда не было. Он был рослым, довольно тучным, она — подтянутой и стремительной. «Богемные круги», — написал он мне. Волосы у них были одинакового оттенка, на этом сходство кончалось. И все же я чувствовал: что-то из него сохранилось в ней — нечто перешедшее после его внезапного ухода. Наверное, мне просто требовалось присутствие Рамадина, а его в комнате не было.

День оказался долгим, и, пока он длился, общались мы только через комнату, беседуя с различными родственниками. Подали обед, его ели стоя, я видел, как она, одного за другим, обходит членов этого живущего на чужбине семейства, этакая старательная пчелка, — от убитой горем старенькой тетушки к дядюшке, который по забывчивости балагурит, потом к племяннику, который не может понять, откуда у всех такое спокойствие, потому что он боготворил Рамадина — тот занимался с ним математикой и умел дать разумный совет в любой трудной ситуации. Я видел, как Масси присела с мальчиком на шез-

лонг в саду, и мне хотелось быть с ними, а не под прицелом любопытного взгляда одного из родительских приятелей. Может быть, потому, что мальчику было десять лет. И мне хотелось знать, что она ему говорит, чем обосновывает свои слова, почему мы ведем себя точно тайная секта, почему беседуем шепотом. А потом я увидел, что слезы текут не у мальчика, а у Масси.

Я бросил родительского приятеля на полуслове, вышел к ним, сел рядом, обнял ее содрогающееся тело — дрожь так и не утихла, — и ни одному из нас троих и в голову не пришло сказать хотя бы слово. А потом я поднял глаза, заглянул сквозь стеклянные двери в дом и понял, что все взрослые там, внутри, а мы, дети, — в саду.

Сгущались сумерки, и скромный дом Рамадина, когда-то являвшийся для меня прибежищем, предстал хрупким ковчегом. Последний гость медленно шел в сторону неосвещенной окраинной улицы. Я стоял рядом с родными Рамадина в прихожей и тоже собирался уходить — нужно было успеть на один из последних поездов к центру Лондона.

— Завтра днем я улетаю, — сказал я, — но, скорее всего, вернусь через месяц.

Она пристально вглядывалась в меня. Соб-

ственно, мы оба только этим и занимались весь день, будто бы заново оценивая давно знакомого человека. Лицо Масси стало шире, у нее изменилась повадка. Я отметил новообретенную, продуманную ласку в обращении с родителями. А ведь она провоевала с ними все подростковые годы. Я подмечал эти различия и одновременно осознавал, что ей легче заглянуть мне в душу, чем любому из моих недавних друзей. Она может извлечь из памяти прежнее представление обо мне и положить рядом с тем, что видит теперь. Она вечно оказывалась рядом с братом и со мной во время каникул — мы втроем бродили по городу, который еще не стал родным, где нам постоянно напоминали, что он нам не родной: мы вращались в странной замкнутой вселенной — автобус до бассейна в Бромли или до общественной библиотеки в Кройдоне или в Эрлз-Корт посмотреть лодочные гонки, или собачьи бега, или автомобильную выставку. Наверняка у нас в головах до сих пор хранились одинаковые схемы автобусных маршрутов. Она была свидетельницей всех перемен, происходивших со мной в те годы. Все это было у нее внутри.

А потом — пропуск длиной в восемь лет.

«Завтра днем я улетаю, но, скорее всего, вернусь

через месяц».

Она стояла в прихожей и смотрела на меня — на лице явственно читалось горе от недавней утраты. С ней рядом стоял, придерживая ее за локоть, ее возлюбленный. Мы с ним уже успели переговорить. Если он и не был возлюбленным, то явно надеялся им стать.

— Ну, сообщи, когда вернешься, — обронила Масси.

— Непременно.

— Масси, ты бы проводила Майкла до станции. Вам есть о чем поговорить, — предложила миссис Эр.

— Да, пошли, — поддержал ее я. — Проведем часик вместе.

— Уйма времени, — заметила она.

Масси существовала в населенной части мира — Рамадин редко туда вступал. Ей незнакомы были колебания. Нам предстояло разделить значимый кусок наших жизней. Чем бы ни закончилась наша общая история с ее взмывами и провалами, мы обогатили и обокрали друг дружку со стремительностью, которой я отчасти научился от нее. Масси в одночасье принимала решения. Пожалуй, она больше походила на Кассия, чем на брата. Теперь-то я знаю, что мир

не делится на две противоположности, все не так просто. Но в юности нам свойственно так считать.

«Уйма времени», — произнесла она. В этот час я сделал первые шаги обратно в ее жизнь. Мы пошли на станцию, и за разговором шаги наши становились все медленнее. Мы вступили в полную тьму — дорога шла вдоль футбольного поля, — и нам казалось, что мы перешептываемся в некоем неосвещенном углу сцены. Говорили в основном про нее. Про меня она и так уже знала достаточно — мой краткий и неожиданный успех, который привел меня в Северную Америку, одновременно выдернув из ее мира. («Ты приехал, а я и не надеялась». «Вечно ты в отлучке, Майкл».) Мы извлекали на свет минувшие годы. Я так долго почти не общался с ними, даже с Рамадином. Время от времени слал открытку, чтобы обозначить, где нахожусь, тем дело и кончалось. Предстояло многое узнать о том, чем занимались все эти годы она и ее брат.

— Слышал про такую Хезер Кейв? — спросила она.

— Нет. А должен был? Кто она такая?

Мне показалось — вроде речь о том, что я мог ее встретить в Америке или в Канаде.

— Да вот Рамадин, судя по всему, был с ней знаком.

И Масси рассказала, что никто толком не знает обстоятельств смерти Рамадина. Его просто нашли — сердце не бьется, рядом лежит нож. И всё. Он забрел в темноту городского сада неподалеку от квартиры одной девушки. Вроде как он сходил по ней с ума, а она была его ученицей. Масси зашла в эту квартиру, там жила только одна девушка, четырнадцати лет, эта самая Хезер Кейв, он давал ей уроки. Если именно она и покорила его сердце, он, наверное, испытывал бесконечное чувство вины, заполнявшее его, как черные чернила.

Масси встряхнула головой и отвернулась от этой темы.

А потом сказала: по-видимому, жизнь брата в Англии складывалась несчастливо, по ее мнению, ему лучше бы было жить и работать в Коломбо.

Как-то так получается, что в любой эмигрантской семье есть человек, которому не прижиться в новой стране. Этому брату или этой жене, что молчаливо страдает в Бостоне, Лондоне или Мельбурне, жизнь кажется постоянным изгнанием. Я не раз встречал тех, кого одолевают неотвязные призраки прошлой жизни. И — да,

действительно, Рамадин был бы счастливее в менее чопорном и менее многолюдном Коломбо. В отличие от Масси и, как она подозревала, от меня, Рамадин не был амбициозен. Он отличался неспешностью, обстоятельностью, он постигал важные вещи в своем собственном темпе. Я сказал ей, что до сих пор не могу понять, как он уживался со мной и с Кассием на пути в Англию. Она улыбнулась, покивала, а потом спросила:

— А ты с ним видишься? Я о нем иногда читаю.

— Помнишь, мы когда-то уговаривали тебя его не упустить?

И тут мы рассмеялись. В юности мы с Рамадином пытались убедить Масси, что Кассий составит ей идеальную пару.

— Может, и стоило бы… может, еще не поздно.

Она поддавала носком мокрые листья, она продела руку сквозь мою. Я подумал о втором отсутствующем друге. В последний раз я слышал про Кассия от одной актрисы со Шри-Ланки, которая в ранней юности дружила с ним в Англии. Она рассказала, как он пригласил ее на свидание, очень рано утром, на поле для гольфа. Принес пару стареньких клюшек, несколько мячей, они перелезли через ограду и бродили по полю — Кассий курил косяк и повествовал о величии

Ницше, а потом попытался соблазнить ее прямо меж двух лунок.

Дойдя до станции, мы посмотрели расписание, а потом отправились в ночное кафе под железнодорожным мостом и сидели там, почти не разговаривая, глядя друг на друга поверх пластиковой столешницы.

Про себя я никогда не называл Масси «сестрой Рамадина». Слишком уж они были разными. Ее отличал открытый характер. Если ей что-то предлагали, она немедленно за это бралась, будто подхватывала куплет песни. Она была из тех, кого в прежние времена называли «боевыми». Так бы, наверное, выразились про нее мистер Мазаппа или мисс Ласкети. Но в тот вечер в полупустом железнодорожном кафе она казалась замкнутой, нерешительной. За одним из столиков сидела пожилая пара — они тоже были на похоронах и на поминках, однако с нами не заговорили. Мне очень хотелось, чтобы Рамадин оказался рядом. Я ведь к этому привык. Может, его присутствие обозначилось из-за того, что Масси притихла, может, возникшая между нами приязнь стремительно стерла прошедшие годы, но он подступил мне к самому сердцу, и я заплакал. В душу внезапно вернулось все: его медлительная походка, его

смущение от непристойной шутки, его привязанность к этому песику из Адена, его заботливое отношение к собственному сердцу — «сердцу Рамадина», его узлы, которыми он так гордился и которые спасли нам жизнь, то, как выглядело его тело, когда он уходил прочь. И его изрядный ум, который мистер Фонсека разглядел, а мы с Кассием не заметили и не признали, но которым он, несомненно, обладал. Какую часть Рамадина я забрал внутрь, пусть даже в виде воспоминания, после того как мы расстались?

Я — человек с холодным сердцем. Оказавшись лицом к лицу с великим горем, я воздвигаю барьеры, чтобы утрата не вошла слишком далеко или слишком глубоко в душу. Стена возникает мгновенно, и ее не поколебать. Пруст как-то написал: «Мы думаем, что больше не любим тех, кто умер… но на глаза попадается старая перчатка — и не сдержать слез». Не знаю, что произошло со мной. Не было никакой перчатки. Он шесть дней как умер. Говоря по-честному, я даже не думал о Рамадине как о человеке, который когда-то был мне близок. На третьем десятке мы заняты тем, что изменяемся.

Чувствовал ли я вину за то, что недостаточно любил его? Отчасти — да. Но не эта мысль сломала

стену и впустила его мне в душу. Я, видимо, просто начал вспоминать, проигрывать отдельные эпизоды, свидетельствовавшие, что я был ему небезразличен. Жест, которым он указывает, что я что-то пролил на рубашку, — это, собственно, было в нашу последнюю встречу. Как он пытался втянуть меня в то, чему с таким рвением учился. Сколько он потратил сил, чтобы отыскать меня и сохранить нашу дружбу, когда в Англии он поступил в одну школу, а я в другую. Земляков хватало в любом месте, но он неизменно держал со мной связь.

Понятия не имею, сколько я просидел вот так у огромного окна, отделявшего нас от улицы. Масси сидела напротив, не произнося ни слова, протянув в мою сторону руку ладонью вверх, я ее так и не увидел и не накрыл своей. Говорят, когда мы плачем, душа расширяется, не сжимается. Я плакал долго. Не в силах взглянуть на нее. Отвернулся и вглядывался за грань ресторанного света, в темноту.

— Идем. Идем со мной, — сказала она, и мы поднялись по темным каменным ступеням на платформу.

До поезда еще оставалось несколько минут, мы принялись бродить взад-вперед, до темной око-

нечности платформы и обратно, в совершенном молчании. Когда подошел поезд, было объятие, поцелуй, исполненный узнавания и грусти, — он распахнул двери в следующие несколько лет. Из громкоговорителя раздались хриплые звуки, и сверху нас озарил свет единственного фонаря.

Значимость некоторых событий и нанесенный ими ущерб не постичь за целую жизнь. Теперь я понимаю, что женился на Масси, чтобы быть ближе к людям из своего детства — в котором я чувствовал себя защищенным и в которое, как оказалось, все еще мечтал вернуться.

Поэтому мы с Масси продолжали видеться — поначалу робко, потом отчасти для того, чтобы восстановить почти любовные отношения нашей юности. Нас объединяла утрата Рамадина. Кроме того, мне было уютно в их семейном кругу. Ее родители рады были моему возвращению к ним в дом — возвращению мальчика (для них по-прежнему мальчика), который долгие годы был лучшим другом их сына. Так что я часто наведывался на Милл-Хилл, в дом, где так часто искал убежища в подростковые годы, где валандался с Рамадином и его сестрой, пока их родители были на работе, — в гостиной перед телевизором, в спальне на втором этаже, где окно заслоняла

листва. Даже сегодня я могу пройти по этому дому с закрытыми глазами, раскинув руки точно на ширину вестибюля, делая вот столько шагов, чтобы попасть в нужную комнату, потом еще три вправо, чтобы не наткнуться на низенький столик, и я буду знать, что если сброшу повязку, то окажусь прямо перед фотографией Рамадина в день окончания университета.

Больше мне некуда и не к кому было идти со своей пустотой.

Через месяц после смерти Рамадина его родные получили письмо соболезнования от мистера Фонсеки; мне его позволили прочитать, так как речь там шла о нашем плавании на «Оронсее». Мистер Фонсека удостоил меня нескольких любезных слов (а Кассия — ни единого), а вот о Рамадине говорил как о человеке с яркими научными задатками. Он писал, как они обсуждали историю стран, мимо которых лежал наш путь, — контрасты между природой и рукотворными гаванями, то, что Аден — один из тринадцати великих городов доисламской эпохи, наследие великих мусульманских географов, живших там до пришествия пороховой цивилизации. Письмо было крайне пространным, и стиль Фонсеки остался прежним, узнаваемым, хотя минуло по-

чти двадцать лет.

Испытывая страсть к знаниям, мистер Фонсека с особым удовольствием делился ими. Полагаю, так же делился Рамадин с десятилетним мальчиком, которого я видел на похоронах. Мистер Фонсека не знал, поддерживаю ли я связь с семьей Рамадина, и, наверное, я мог бы его удивить — поехать вместе с Масси в Шеффилд повидаться с ним. Но я не поехал. Все выходные у нас с ней были заняты. Мы вновь были возлюбленными, мы обручились со всеми теми формальностями, на которых настаивают семьи, живущие за границей. На нас навалился груз традиций, хранимых изгнанниками. И все-таки нужно было вырваться, взять напрокат машину и съездить к нему. Хотя на тогдашнем моем жизненном этапе я бы, наверное, оробел перед ним. Я был начинающим писателем, боялся его оценок, хотя, уверен, он вряд ли был бы ко мне строг. В конце концов, естественную чуткость и вдумчивость, залог творческого дара, он прозрел только в Рамадине. Я не считаю эти качества столь уж важными, но тогда почти что считал.

Впрочем, я по сей день не понимаю, почему именно нам с Кассием удалось вырваться из этого мира и выжить в мире искусства. Кассий,

например, на публике всегда настаивал, чтобы его называли его громким именем. Я был посговорчивее, вел себя благопристойно, Кассий же вытворял неизвестно что, доводя маститых и влиятельных до белого каления. Через несколько лет после того, как он прославился, его английская школа — сам он ее ненавидел, а его там, скорее всего, недолюбливали — попросила подарить им картину. Он послал в ответ телеграмму: «ДА ПОШЛИ ВЫ МНГТЧ ВСКЛ КУДА ИМЕННО ПИСЬМОМ ТЧК». Он так и остался хулиганом. Всякий раз, узнавая про очередную блистательную и непотребную выходку Кассия, я представлял себе, как Фонсека читает о ней в газете и вздыхает при мысли о пропасти между благопристойностью и искусством.

Нужно мне было все-таки его повидать, этого старого гуру пенькового дыма. Он открыл бы мне иного Рамадина, не того, которого Масси. Но семья ее была разбита горем, мы с ней должны были стать целительной связкой — или по крайней мере заплатой. Кроме того, тогдашние наши желания уходили корнями в более ранние времена, в то раннее утро нашей юности, когда образ ее рисовался колышущимися зелеными ветками. У каждого из нас есть в сердце старый

узел, который хочется ослабить и развязать.

Будучи единственным ребенком в семье, с Рамадином и Масси я вел себя так, будто они мне брат и сестра. Такие отношения случаются только в подростковом возрасте, совсем противоположные возникают с теми, кого мы встречаем позднее, — с теми, с кем больше вероятности изменить свою жизнь.

Так мне казалось.

Мы все втроем пересекали невнятные, фактически не нанесенные на карту просторы летних и зимних каникул. Скакали вприпрыжку по вселенной Милл — Хилл. На велотреке воспроизводили великие гонки — вихляли вверх по склону, мчались вниз — и финишировали под щелканье фотоаппаратов. Днем забирались в какой-нибудь кинозальчик в центре Лондона и смотрели кино. Наша вселенная включала в себя электростанцию Баттерси, Пеликанью лестницу в Уоппинге, которая вела к Темзе, Кройдонскую библиотеку, Челсийские бани, Стритемский луг, спускавшийся от Хай-роуд к деревьям вдалеке. (Именно там Рамадин провел часть своей последней ночи.) А еще — улицу Коллиерз-Уотерлейн, где мы с Масси в конце концов поселились вместе. Все это были места, куда мы с ней и с

Рамадином зашли подростками, а вышли взрослыми людьми. Но многое ли мы знали — хотя бы даже друг о друге? О будущем мы не думали. Куда мчалась наша крошечная солнечная система? Долго ли нам предстояло хоть что-то значить друг для друга?

Некоторым из нас в юности удается обрести свои истинные, исконные сущности. Это — осознание того, что зародышем таится у вас внутри, но потом вырастет в нечто большее. На судне у меня было прозвище Майна. Почти мое настоящее имя плюс шажок в воздух, промельк чего-то еще, будто легкая раскачка, с которой ходят по земле все птицы. Причем это ненастоящая птица и ненадежная, голос ее не вызывает доверия, несмотря на широту диапазона. В то время я, наверное, был этакой майной в нашей компании — пересказывал другим все, что услышал сам. Прозвище дал мне Рамадин, совершенно случайно, а Кассий, оценив, с какой легкостью оно вырастает из моего имени, подхватил его.

Никто никогда не звал меня Майной, кроме двух моих друзей с «Оронсея». Когда я поступил в английскую школу, меня стали называть по фамилии. Но если мне звонили по телефону и говорили «Майна», это могли быть только они.

Масси тоже иногда употребляла это прозвище, но мое настоящее имя в ее устах звучало натуральнее.

Что касается имени Рамадина, я редко его произносил, хотя и знал. Неужели это знание дает мне право считать, что я почти все в нем понял? Неужели я вправе воображать себе ход его взрослой мысли? Нет. Но в детстве, во время того плаванья в Англию, глядя на море, которое, казалось, не содержит в себе ничего, мы придумывали такие замысловатые сюжеты и истории.

Сердце Рамадина. Песик Рамадина. Сестра Рамадина. Девушка Рамадина. Только сейчас я вижу, как мы были связаны во все узловые моменты моей жизни. Например, этот песик. Он был с нами совсем немного, но я все еще помню, как мы возились с ним на узкой койке. Как в какой-то момент он присмирел, подошел ко мне и приладил морду мне между плечом и шеей, будто скрипку. Горячий от испуга. А потом — с Масси, как мы с ней тоже прилаживались, вначале недоверчиво и нервно, потом стремительнее и лихорадочнее, когда открыли друг дружку после смерти Рамадина, уже тогда почти осознавая, что не оказались бы вместе, останься он в живых.

А еще была девушка Рамадина.

Звали ее Хезер Кейв. И все, что к четырнадцати годам еще не успело в ней оформиться, он любил. Можно подумать, он видел все открытые перед ней возможности, хотя, наверное, любил и то, какой она была в тот момент, — как случается восхищаться щенком, жеребенком, красивым мальчиком, еще не достигшим зрелости. Он ходил к Кейвам на квартиру и занимался с ней алгеброй и геометрией. Они сидели за кухонным столом. Если погода выдавалась солнечная, они переносили урок в обнесенный забором садик возле ее многоквартирного дома. И в последние полчаса — небольшой нецеремонный подарок — он заговаривал с ней об иных вещах. Его удивляло, как резко она высказывается о родителях, о надоевших учителях и о «друзьях», которые пытались ее растлить, — Рамадин долго сидел как громом пораженный. Она была юна, но не наивна. Во многих житейских вещах даже мудрее его. А кем был он сам? Слишком неискушенным тридцатилетним мужчиной, почти не ослабившим тесные узы, связывающие его с эмигрантским кружком Лондона. В окружающем мире он не был ни сведущ, ни деятелен. Он преподавал в школе и давал частные уроки. Читал книги по истории и географии. Поддерживал связь с мистером Фонсе-

кой, жившим на севере, — по словам его сестры, между ними велась одухотворенная переписка. Словом, он сидел за столом и слушал девочку, воображая себе всевозможные варианты развития ее личности. А потом уходил домой.

Что бы ему было не разбавить высокий штиль его посланий к Фонсеке хоть одним упоминанием о ней? Этого он бы никогда не сделал. Ведь Фонсека обязательно нашел бы способ оторвать его от нее. Впрочем, много ли он сам знал о нраве подростков, о жестокости под тонким слоем лакировки? Нет уж, лучше бы он исповедался Кассию или мне.

Он приходил к Кейвам по средам и пятницам. По пятницам девочка не скрывала нетерпения — после урока у нее была встреча с друзьями. А однажды в пятницу он застал ее в слезах. Она разговорилась — не отталкивала его, напротив, просила о помощи. Ей было четырнадцать, и пределом ее мечтаний был мальчик по имени Раджива, которого Рамадин как — то раз видел в ее компании. Сомнительный тип, подумал он тогда. А теперь — выслушивай о нем во всех подробностях, о нем и о их циничной и довольно поверхностной взаимной страсти. Она говорила, Рамадин слушал. В компании общих друзей

мальчишка обошелся с ней с подчеркнутым презрением, она чувствовала себя покинутой. И теперь она хотела, чтобы Рамадин повидался с мальчиком и что — нибудь ему сказал, как-то бы ее отстоял; она знала: говорит он красноречиво, — может, он сумеет вернуть ей Радживу.

Она впервые обратилась к нему с просьбой.

Я знаю, где он сейчас, сказала она, в баре «Лис». Сама она не хотела, не могла туда пойти. Раджива там с друзьями, а они ее игнорируют.

И тогда Рамадин отправился искать этого парня и уговаривать его вернуться к Хезер. Отправился в мрачный закоулок города — по своей воле он никогда бы туда не попал, а тут вот шагает в длиннополом черном пальто, но без шарфа, во власти английской непогоды.

И входит мой тридцатилетний друг в бар «Лис» выполнять свою рыцарскую миссию. Место неспокойное — музыка, громкие разговоры, дым. И вот он внутри — пухлый одышливый азиат, а ищет он другого азиата: Раджива тоже родом с Востока, а если не он, то его родители. Впрочем, за поколение можно набраться самоуверенности. Рамадин видит Радживу в кругу друзей. Подходит к ним и пытается объяснить, зачем пришел. Вокруг ведутся разные разговоры, среди кото-

рых он пытается убедить Радживу пойти с ним обратно на квартиру, где ждет Хезер. Раджива хохочет и отворачивается, Рамадин подтягивает мальчишку к себе за левое плечо, блестит обнаженный клинок. Лезвие не касается Рамадина. Оно касается черного пальто прямо у него над сердцем. Сердцем, которое Рамадин оберегал всю свою жизнь. Нажим мальчишкиного клинка едва ощутим, такое усилие нужно, чтобы застегнуть или расстегнуть пуговицу. Но Рамадин стоит в окружающем громогласии и трясется. Пытается не вдыхать дым. Сколько этому парню, Радживе? Шестнадцать? Семнадцать? Тот подходит ближе, карие глаза темны, засовывает нож в карман черного пальто Рамадина. С той же интимностью он мог всадить его в тело.

— Можешь ей это передать, — говорит Раджива.

Опасный, но явно осмысленный жест. Что он означает? Что Раджива хочет сказать?

Неукротимая дрожь в сердце Рамадина, нож совсем рядом. Взрыв смеха, «возлюбленный», отвернувшись, удаляется, окруженный друзьями. Рамадин выходит из бара в ночь и отправляется в путь на квартиру к Хезер, чтобы поведать о своей неудаче. «Кроме прочего, — добавит он по

возвращении, — он тебе не подходит». Внезапно наваливается усталость. Он останавливает такси, садится. Он ей скажет… он ей объяснит… он не станет говорить о тяжком грузе у самого сердца… водитель несколько раз повторяет вопрос со своего места, он не слышит. Голова склоняется на грудь.

Расплачивается с таксистом. Нажимает звонок ее квартиры, ждет, потом поворачивается и уходит. Проходит через садик, где они занимались раза два, в солнечную погоду. Сердце продолжает метаться, ему не сбавить ход, не угомониться. Толчком распахивает калитку и вступает в зеленую тьму.

Я познакомился с этой девочкой, Хезер Кейв. Прошло несколько лет со смерти Рамадина, с нашего разрыва с Масси. Собственно, то было последнее, что я сделал для Масси и для ее родителей. Девочка уже превратилась в девушку, жила и работала в Бромли, неподалеку от моей бывшей школы. Мы встретились в «Аккуратной прическе», где она работала, я пригласил ее на ланч. Чтобы познакомиться, пришлось изобрести предлог.

В первый момент она сказала, что почти не помнит его. Но по ходу разговора всплыли некоторые

совершенно удивительные подробности. Притом что она решительно не желала выходить за рамки официальной, хотя и неполной, версии его смерти. Мы провели вместе час, потом каждый пошел своей дорогой. Она не была ни демоном, ни глупышкой. Полагаю, «развитие» ее пошло не так, как хотелось бы Рамадину, но Хезер Кейв надежно утвердилась в той жизни, которую сама для себя выбрала. Тут у нее была полная власть. Она осмотрительно, деликатно отнеслась к моим чувствам. Когда я впервые упомянул имя своего друга, она ненавязчиво отвлекла меня какими-то вопросами и заставила говорить о себе. Тогда я рассказал о нашем морском путешествии. В результате, когда я повторил свой вопрос, она уже представляла себе, как мы с ним были близки, и куда более щедро обрисовала своего учителя, чем обрисовала бы человеку постороннему.

— Как он выглядел в те времена?

Она упомянула его знакомую тучность, валкую походку и даже мимолетную улыбку, которой он награждал лишь единожды, перед самым уходом. Странно, что лишь один раз, он ведь был ласковым человеком, подумал я. Да, Рамадин неизменно покидал вас с этой искренней улыбкой, на этом вы с ним и расставались.

— А он всегда был застенчивым? — спросила она, помолчав.

— Он был… осторожным. Виной тому слабое сердце, которое нужно было беречь. Поэтому мать так сильно его любила. Она знала, что он долго не проживет.

— Понятно. — Она опустила глаза. — То, что случилось в том баре… как мне рассказывали, так, пошумели, но драки не было. Раджива не из таких. Мы с ним больше не встречаемся, но он не из таких.

Опереться в нашем разговоре было почти не на что. Я цеплялся за воздух. Рамадин, которого нужно было постичь до конца, чтобы наконец похоронить, не давался мне в руки. А кроме того — могла ли она в четырнадцать лет сознавать его желания, его муки?

А потом она сказала:

— Я знаю, чего он хотел. Он толковал про всякие равнобедренные треугольники и математические загадки про поезд, который движется со скоростью тридцать миль в час… или про ванну, в которую вмещается столько-то воды, и вот в нее ложится человек весом в шестьдесят килограммов. Все это мы тогда проходили. Но ему ведь было нужно другое, да? Он хотел меня спасти. И

при этом забрать меня себе, увести в свою жизнь — будто бы у меня не было собственной.

Мы всегда стремимся спасать тех, кто беззащитен в этом мире. Такая мужская привычка — исполнять чужие желания. А вот Хезер Кейв даже в юности знала, чего хочет для нее Рамадин. В тот вечер она обратилась к нему с просьбой — и тем не менее не винила себя в его смерти. Он помог ей, потому что сам этого хотел.

— У него ведь есть сестра, да?

— Да, — подтвердил я. — Мы раньше были женаты.

— Поэтому вы и пришли ко мне?

— Нет. Просто он был моим ближайшим другом, моим «машангом». В какой-то момент — одним из двух лучших друзей.

— Понятно. Сочувствую. — А потом она добавила: — Я так хорошо помню эту улыбку, когда он уходил, а я закрывала дверь. Как вот человек прощается по телефону, и голос у него делается грустным. Знаете, как изменяется голос?

Когда мы встали из-за стола, она обогнула его и обняла меня, будто бы знала, что все это — не ради Рамадина, а ради меня.

Однажды летним вечером я вернулся в гостиную нашей квартиры на Коллиерз-Уотер-лейн,

где шла вечеринка, и увидел, как на другом конце комнаты Масси оттолкнулась от стены и пошла танцевать с нашим общим знакомым. Они держались на расстоянии вытянутой руки, чтобы видеть лица друг друга, правой рукой она приподняла и чуть передвинула бретельку летнего платья — при этом она смотрела на эту бретельку, и он смотрел тоже. И она знала, что он смотрит.

В гостиной были все наши общие друзья. Рэй Чарльз пел «А с другой стороны, детка».[14] Я стоял посредине комнаты. Мне не нужно было ничего больше видеть, не нужно было слышать ни слова — я сразу понял, что между ними возникло притяжение, которого между нами больше не было.

Такой незатейливый жест, Масси. Но когда мы ищем примеры того, чего лишились, мы находим их повсюду. А ведь прошло лишь несколько лет с тех пор, как неоседланные лошади унесли нас от утраты твоего брата — оттуда, откуда мы никогда не смогли бы вырваться поодиночке.

Если кто и страдал из-за нашего с Масси разрыва, так это ее родители, мы же оба надеялись, что без матримониальных обертонов отношения

[14] Примечания: 14

«But on the Other Hand, Baby» — сингл, записанный Рэем Чарльзом и Бетти Картер в 1961 г., но на исходный альбом «Ray Charles and Betty Carter» не вошедший и добавленный уже при его переиздании на CD.

наши станут ровнее. На деле же оказалось, что мы вообще перестали видеться.

Раскололось ли время, когда я увидел, как она передвинула эту бретельку летнего платья, всего-то на сантиметр, — а я истолковал это как приглашение общему другу? Будто ему так уж обязательно было увидеть эту узкую незагорелую полоску ее плеча. Я говорю это теперь, когда обиды, обвинения, отпирательства и споры давно в прошлом. Почему я усмотрел в этом жесте нечто особенное? Я вышел в наш садик и постоял там, прислушиваясь к потоку ночных машин на Коллиерз-Уотерлейн, — они напомнили мне о несмолкающем рокоте моря, а потом внезапно — об Эмили на темной палубе «Оронсея»: она прислонилась к ограждению, рядом кавалер, она, покосившись на свое голое плечо, переводит взгляд на звезды, и я чувствую, что во мне тоже стягивается узел желания. А мне всего одиннадцать лет.

Сейчас расскажу, когда я в последний раз думал про Рамадина. Было это в Италии; я интересуюсь геральдикой, поэтому попросил экскурсовода в одном из замков объяснить мне значение полумесяцев концами вверх. Он ответил, что ряд полумесяцев плюс меч означает, что кто-то из

членов семьи участвовал в Крестовых походах. Если только в одном поколении, на гербе будет один полумесяц. А потом экскурсовод добавил, без всякого вопроса с моей стороны, что если на гербе изображено солнце, значит, в семье был святой. И я подумал: Рамадин. Да. Он выскочил, во всей полноте, из глубин памяти, в облике святого. Не слишком официального. Облеченного плотью. Он был святым нашего тайного семейства.

Порт-Саид

Первого сентября 1954 года «Оронсей» завершил проход по Суэцкому каналу, и мы наблюдали, как мимо, подступая, медленно скользит Порт-Саид; небо потемнело от песка. Мы провели всю ночь без сна, валились с ног, но оставались на палубе, сколько могли, вслушиваясь в гул уличного движения, хор клаксонов и громкоговорителей.

Только на рассвете мы покинули палубу и спустились в жаркое узилище — машинное отделение. У нас это уже вошло в привычку. Те, кто работал здесь, так обильно потели, что пили тепловатую воду из противопожарных ведер, а вокруг вращались турбины, ходили поршни. На «Оронсее» было шестнадцать мотористов. Восемь в ночной смене, восемь в дневной, они лелеяли паровые турбины мощностью сорок тысяч лошадиных сил, которые вращали два винта, позволявшие нам плыть и по спокойным, и по бурным водам. Если мы оказывались там в тот момент, когда заступала утренняя смена, мы выходили вместе с ночной вахтой на солнечный свет, где мотористы один за другим мылись под

открытым душем — под которым час назад стояла австралийка на роликах, — а затем обсыхали на морском ветру, и в тишине нового дня их голоса звучали непривычно громко.

Но когда мы встали у причала в Порт-Саиде, все турбины и двигатели остановили, а задачи и повадки команды переменились. Их скрытая деятельность внезапно предстала на всеобщее обозрение. Во время прохода по Красному морю и по Суэцу пустынные ветры содрали с корпуса судна миллионы частиц канареечно-желтой краски, и теперь, на все полтора дня стоянки в этом средиземноморском порту, матросы вывесили вдоль бортов веревочные люльки и принялись скрести и перекрашивать желтый корпус. Мотористы, электрики и пожарные трудились среди пассажиров на сорокаградусной жаре, подготавливая судно ко второй части путешествия. Обтирщики вычищали из труб маслянистый налет, собирали черную, похожую на желчь жидкость в бочки. Едва судно вышло из гавани, они затащили их на кормовой подзор и выплеснули в море.

А трюмы тем временем частично опорожнили. Недолгий полуденный дождик сеялся на три уровня вниз, к самому днищу, пока матросы, мокрые до нитки, выкатывали трехсоткилограм-

мовые барабаны к подножию поджидавшего крана, прикручивали барабан цепью к поперечной перекладине. Они подхватывали и волокли к люку комоды и каучуковые ковры. Мешки с асбестом лопались в воздухе. Работа была яростная, напряженная. Чуть отпусти какой — нибудь контейнер — и он рухнет в двадцатиметровый провал. Если кто-то погибал, тело на веслах доставляли обратно в порт, и там оно исчезало.

Две Виолеты

Миссис Флавия Принс успела приобрести на «Оронсее» значительное влияние. Ее приглашали за капитанский стол, дважды — поиграть за чаем в бридж в офицерской кают-компании. Но истинную власть в салонах первой палубы тете Флавии придал союз с двумя приятельницами и их искусная игра в двойной бридж.

Виолета Кумарасвами и Виолета Гренье, «две Виолеты», как звали их на борту, защищали честь Цейлона в многочисленных азиатских чемпионатах по бриджу от Сингапура до Бангкока. Понятное дело, они превосходили мастерством случайных игроков, какие обычно подбираются во время путешествия, и, не объявив о своем профессиональном статусе, вовсю пускали пыль в глаза, каждый день отыскивая очередного редковолосого холостяка и усаживая с собой на пару робберов.

На деле игра превращалась в замедленный допрос на предмет семейного положения данного персонажа, с возможным дальнейшим ухаживанием в виду, ибо мисс Кумарасвами, младшая

из двух Виолет, как раз подыскивала себе мужа. Поэтому, будучи на деле самой коварной из трех партнерш, за карточными столами в салоне «Далила» Виолета Кумарасвами строила из себя скромницу, занижая взятки и пасуя, когда могла бы прикупить. Если раз-другой ей удавалось с гениальным изяществом обзавестись триплетом, она краснела и объявляла, что ей везет в картах, зато не везет в любви…

Воображаю себе, как эти три дамы берут в кольцо и заарканивают очередного одинокого джентльмена, — те не догадывались, что происходит, и не имели ни малейшего понятия, как вляпались. Браслеты и броши позванивали и посверкивали — две Виолеты и Флавия сдавали свои смертоносные карты или застенчиво прижимали их к груди. Весь переход через Красное море в них теплилась надежда, что один чайный плантатор средних лет все-таки покорится чарам младшей охотницы. Но он оказался устойчивее, чем они полагали, и, пока мы стояли в Порт-Саиде, Виолета Кумарасвами сидела в своей каюте и плакала.

Мне страшно хотелось бы понаблюдать за карточной партией между моей тетей Флавией и моим соседом мистером Хейсти. Он все еще

страдал по поводу отлучения от любимой работы. Скучал по своим собакам, скучал по свободному времени, когда можно было почитать. Я мечтал организовать состязание между двумя этими удаленными мирами и прикидывал, не посрамит ли он двух Виолет в честной игре — в салоне «Далила» или в нашей кают в полночь, а еще того лучше — на нейтральной территории, в глубинах трюма, за разложенным карточным столом, под голой лампочкой.

Два сердца

После того как мистера Хейсти разжаловали из главных собачников, ночные карточные баталии стали случаться реже. Во-первых, из-за возвышения мистера Инвернио отношения между двумя друзьями стали несколько натянутыми. А у мистера Хейсти, которому теперь приходилось обдирать краску на солнцепеке, энергии было уже не столько, как в те времена, когда он приглядывал за собаками да читал романы. Раньше они неизменно завтракали вдвоем в собачьем загоне — завтрак сводился к виски и какой-нибудь кашке из предварительно вымытой собачьей миски. Теперь же они едва виделись. И все-таки полночный бридж не окончательно сошел на нет, и порой я наблюдал за ними, пока не усну, — будил меня мистер Бэбсток, который, проиграв кон, имел обыкновение орать. Они с Толроем, отработав весь день в радиорубке, приходили на игру совершенно вымотанными. Один лишь Инвернио, с его непыльной работой, был оживлен и хлопал в ладоши даже при самом мелком выигрыше. От него пахло далматинами и терьерами,

чем он неизменно раздражал мистера Хейсти.

На кормовом подзоре висел желтый фонарь. В самые жаркие ночи мой сосед выволакивал туда свою койку, привязывал к лееру и ложился спать под звездами. Я понял: видимо, именно там он и спал в первые ночи после выхода из Коломбо. Как-то раз мы наткнулись на него во время ночной вылазки, и он объяснил, что пристрастился к этому в молодости, проходя Магеллановым проливом, где судно обступали айсберги всевозможных цветов. Хейсти служил «бессрочником» в торговом флоте, ходил на Американский континент, на Филиппины, на Дальний Восток — и, по его словам, его сформировали именно встреченные там мужчины и женщины. «Помню девушек, шелк… А работу совсем не помню. Я лез в самые суровые приключения. А книги тогда были просто словами». Ночной воздух развязывал мистеру Хейсти язык. И то, что он рассказывал нам во время этих встреч под желтым фонарем, наполняло наши сердца восторженным страхом. Он служил в «Долларовой судоходной», ходил по Панамскому каналу: шлюзы Педро Мигеля и Мирофлорес, Разрез Гайллард — какая романтика! Он описывал рукотворные русла, портовые города на обоих оконечностях канала, а потом

Бальбоа, где, соблазнившись местной красоткой, он напился, опоздал к отплытию и вступил в брак с этой дамой. А через пять дней сбежал, поступив на первое попавшееся судно, итальянское.

Мистер Хейсти повествовал неспешно и сухо, изо рта свисала сигарета, шепот скромно просачивался сквозь дым. Мы верили каждому его слову. Мы попросили показать нам фотографию его «жены», которая, по его словам, преследовала его из порта в порт, не сдаваясь, он пообещал «открыть ее образ», но так и не открыл. Мы воображали себе жгучую красавицу с пламенным взглядом, в руках нож, сама верхом. Ибо когда мистер Хейсти завербовался в Бальбоа на итальянское судно, Анабелла Фигуэро слишком поздно прочла его покаянное, но непреклонное послание и сама на борт не успела. Тогда она взяла двух скакунов и без остановки, пылая яростью, домчалась до шлюза Педро Мигеля, а там явилась на судно в качестве пассажирки первого класса, так чтобы он подавал ей обед, в лакейском костюме стюарда, и ни словом, ни взглядом не реагировала на его удивленную физиономию и услужливую позу, пока однажды вечером не вошла в крошечную каюту, которую он делил с двумя другими членами экипажа, и не бросилась ему в объятия. Сны

наши в ту ночь были красочны.

А под желтым фонарем всплывали новые картины. Ибо потом, на другом судне, когда он в очередной раз усомнился в своей любви, мой сосед однажды вечером глазел на четырехдневную луну, а супруга беззвучно подошла и дважды всадила ему нож под ребра, тот «прошел вот на столько от сердца — на толщину облатки для причастия». Только студеный воздух помог ему удержаться в сознании. Будь она дамой покрупнее, а не миниатюрной южноамериканкой, она наверняка перебросила бы его за ограждение прямо в море. Он лежал и выл — вой звучал особенно громко в безмолвии ночи. По счастью, его услышал другой вахтенный. Ее арестовали, но продержали под замком лишь неделю. «Женщина, доведенная до отчаяния, — пояснил мистер Хейсти. — В южноамериканском уголовном кодексе это понятие обозначается одним словом. Примерно то же, что „вождение машины под воздействием гипноза". А любовь и есть гипноз, или, по крайней мере, была им в те времена».

— Женщины все сумасбродки, — втолковывал он нам, одиннадцатилеткам. — С ними нужно поаккуратнее. Если вы собрались уложить женщину в постель или напоить, она будет пугливой

и настороженной, как дикая лань. Но если вы пытаетесь женщину бросить — это как спуск в шахту, никогда не поймешь, на что они способны. Ударить ножом — это еще ерунда. Сущая ерунда. Это я бы запросто пережил. Но в Вальпараисо она возникла снова — выпустили ее из тюрьмы. Вычислила меня в отеле «Оманн». По счастью, я свалился с тифом — видимо, подхватил его в больнице, куда попал с ножевыми ранениями, а она, на мое счастье, смертельно боялась этой болезни: гадалка ей напророчила, что она может от нее умереть, так что она все-таки от меня отстала. Выходит, нож, прошедший возле левого сердца, спас меня от того, чтобы связать с нею судьбу. Больше я ее никогда не видел. Да, я сказал — левого сердца, потому что у мужчин их два. Два сердца. Две почки. Два образа жизни. Мы — существа с осью симметрии. И все чувства у нас уравновешены.

Я уверовал в это на долгие годы.

— К чему я это все? Да к тому, что в больнице, пока я оправлялся от тифа, тамошние врачи научили меня играть в бридж. А еще я начал читать. В молодости книги как-то не проникли мне в душу. Понимаете, о чем я? Если бы вот эту книгу, «Упанишады», я прочел в двадцать лет,

я бы ничего не воспринял. У меня голова была слишком занята другим. А это как медитация. И теперь мне очень помогает. Мне бы теперь, наверное, и ее любить было гораздо проще.

Однажды днем я стоял на палубе с Флавией Принс. Посмотрев вдоль борта, увидел мистера Хейсти — оседлав поднятый якорь, он красил корпус. Вокруг висели в веревочных люльках другие моряки, но я сразу распознал его лысину, которую часто видел сверху во время карточных игр. Рубахи на нем не было, торс обгорел. Я указал на него тете.

— Говорят, это лучший игрок в бридж на судне, — поведал я ей. — Побеждал на чемпионатах даже в самой Панаме…

Она отвела от него взгляд и закатила глаза:

— Тогда почему же он здесь, а?

— Держит уши открытыми, — сказал я. — Но каждую ночь играет, как настоящий профессионал, с мистером Бэбстоком, мистером Толроем и мистером Инвернио, который теперь главный по всем собакам на борту. И все — чемпионы международных турниров!

— Надо же… — протянула она, разглядывая ногти.

Я попрощался с Флавией Принс и отправился

палубой ниже, где ждали Рамадин и Кассий. Мы следили, как работает мистер Хейсти, пока он не поднял глаза, — тогда мы помахали. Он поднял защитные очки на лоб, признал нас и тоже помахал. Я надеялся, что моя опекунша все еще стоит, где стояла, и видит происходящее. Потом мы пошли дальше, выступая довольно гордо. Мистер Хейсти понятия не имел, как много значил для нас этот жест узнавания.

* * *

Не знаю, что тому виной — ее все возрастающий успех в свете или мое вранье после шторма, но только Флавии Принс, похоже, больше не хотелось меня опекать. Встречи наши стали по ее почину совсем краткими, проходили на открытой палубе, и она, как инспектор по делам несовершеннолетних, ограничивалась двумя-тремя вопросами:

— Каюта у тебя хорошая?

Я специально потянул паузу:

— Да, тетушка.

Она жестом приказала мне приблизиться, явно чем-то заинтересовавшись:

— А чем ты занимаешься целыми днями?

Я решил умолчать про визиты в генераторную и про то, как будоражила меня мокрая одежда

австралийки под душем.

— По счастью, — откликнулась тетя на мое молчание, — мне удалось проспать почти все время, пока мы проходили канал. Такая жара…

Она опять начала перебирать свои украшения, и у меня вдруг мелькнула мысль, что следовало бы сообщить барону номер каюты моей опекунши.

Но барона уже не было на борту. Он сошел в Порт-Саиде, а с ним — дочь Гектора де Сильвы.

Я случайно услышал чью-то реплику: он, мол, утешает симпатичную дочку Гектора де Сильвы, и мне стало ясно — он уговорил ее стать соучастницей в преступлениях, достойных джентльмена, кормил ее печеньем и поил тем самым замечательным чаем в уединении собственной каюты. Сходя на берег, он нес плоский саквояж, в котором вполне могли лежать ценные бумаги, а возможно, и портрет самой мисс де Сильвы, который, как мне было известно, находился именно у барона. Он кивнул мне на прощание с верхней ступеньки трапа, а Кассий ткнул меня в бок — я ведь уже поведал ему о своем участии в ограблениях, преувеличив, разумеется, свою роль. Мисс де Сильва ступала с ним рядом, окруженная коконом молчания. Возможно, то было горе. Или барон успел

загипнотизировать ее своими чарами?

Сами мы не сходили в Порт-Саиде на берег. Остались посмотреть на фокусника «гулли-гулли» и видели с палубы, как он подплыл на каноэ и принялся извлекать цыплят из рукавов, из брюк и из-под шляпы. Потом чихнул, вытащил из носу канарейку и выпустил в небо над портом. Каноэ покачивалось на неспокойной воде, «гулли-гулли» запрыгал от боли, когда петух высунул свою увенчанную гребнем голову из передка его брюк. Потом нам показали, как из его рукавов высыпаются змеи. Они свернулись у его ног в два безупречных круга и даже не шелохнулись, когда в каноэ дождем посыпались монеты.

Мы ушли из Порт-Саида на следующее утро, совсем рано. Приплыл на катере лоцман, взошел на борт и вывел нас из порта. Небрежностью повадки он напоминал того, который при помощи свистков и криков вел нас по каналу. Я вообразил себе, что они близнецы или уж всяко братья. Через полчаса лоцман спустился с мостика — сандалии без задников хлопали его по пяткам, а затем — в шедший за нами катер. С этого момента лоцманы становились все церемоннее. Марсельский явился на борт в рубашке с длинными рукавами, белых брюках и сияющих туфлях. Едва шевеля

губами, он шептал указания, как заводить судно в гавань. Его предшественники ходили в шортах и редко вынимали руки из карманов. Первое, что они требовали, — это рюмочку и свежий сэндвич. Мне не хватало этого их «бездельничанья» — они ведь являлись будто любимые шуты, которые могут в течение часа-другого свободно разгуливать при дворе иностранного короля и вытворять что им вздумается. Но мы теперь были в европейских водах.

* * *

В Порт-Саиде нас покинул и мистер Мазаппа, известный также как Солнечный Луг. Я ждал его возвращения у трапа, даже когда трап собрали гармошкой и увезли. Ждала и мисс Ласкети, — правда, она удалилась, когда раздался непрерывный звон отправного колокола, точно крик упрямого ребенка. А потом трап разомкнулся с причалом.

Я только недавно осознал, что мистер Мазаппа и мисс Ласкети были тогда молоды. В тот год, когда он исчез с нашего судна, им было чуть за тридцать. До отхода из Адена Макс Мазаппа был за «кошкиным столом» самым разговорчивым. Он руководил нами с доброжелательной грубостью, настаивал на том, чтобы за столом не молчали.

Произносил все на публику, даже когда шептал что-нибудь неприличное. Он продемонстрировал нам, что и взрослые знают толк в радости, хотя я уже тогда знал, что будущее не будет столь бурным, бредовым и бесшабашным, как он описывал это в своих песнях мне, Кассию и Рамадину. Он потоками изливал на нас перечни женских чар, равно как и пороков, а вместе с ними — лучшие куплеты и романсы, рассказы о преступлениях, предательствах и перестрелках с участием музыкантов, отстаивавших безупречность своей игры, он говорил, как было бы хорошо, если бы все танцоры в зале хором крикнули: «Луковичка!» — во время паузы в одной джазовой вещице Сидни Беше. И постоянно возникал образ той дамы, про которую было известно, что ее груди изящны, попа ее тяжела. Диораму какой удивительной жизни он для нас создал!

Именно поэтому мы не понимали, и не могли понять, что за тайная морока с ним приключилась. Некое темное крыло осенило протеже великого Беше. Чего же я так и не понял в своем друге мистере Мазаппе? Или я что-то упустил в его все растущей дружбе с мисс Ласкети? Во время бесед в нашей тайной штаб-квартире мы изобрели для них жгучий роман — из того, как

они, вежливо извинившись, выходили после каждого блюда на палубу покурить. «А я ее поначалу принял за синий чулок», — сказал мистер Мазаппа про мисс Ласкети.

День-другой после его отбытия с «Оронсея» мы занимались его переосмыслением. Например, зачем ему два имени? Возникла теория, что у него есть дети. (Кто-то из соседей по столу припомнил «разговор о грудном вскармливании».) Тут я начал размышлять: а ведь эти дети наверняка уже слышали те же шутки и те же советы, что и мы. Было также высказано предположение, что он из тех людей, кто может быть счастлив, только будучи свободным, между тем и этим берегом.

— А может, он был женат уже не один раз, — негромко вставила мисс Ласкети, — и, когда он умрет, останется сразу несколько вдов.

Мы так и вцепились в повисшую за этой фразой паузу, гадая, успел ли он сделать ей предложение.

Я-то думал, что после отбытия мистера Мазаппы она станет тосковать и появляться за столом смертельно бледной. Однако на протяжении оставшейся части пути мисс Ласкети была самой загадочной и непредсказуемой из наших спутниц. Она по собственной воле принялась

утешать нас в связи с утратой мистера Мазаппы, утверждая, что и сама по нему скучает, — но в словах ее проскальзывала скрытая язвительность. Она поняла, что нужно сохранить в нашем сознании миф о покинувшем нас друге, и как — то раз поведала нам, подражая голосом мистеру Мазаппе, что один из его браков действительно закончился изменой. Однажды, неожиданно возвратившись домой, он обнаружил свою жену под неким музыкантом и признался мисс Ласкети: «Будь у меня оружие, я бы отстрелил ему что положено, но в комнате было только его укулеле». Она посмеялась этой шутке, мы — нет.

— Мне так нравились его сицилийские манеры, — продолжала она, — даже то, как он прикуривал мне сигарету, как далеко вытягивал руку, будто фитиль поджигал. Некоторые видели в нем хищника, но он был очень деликатным человеком. А подбор слов и ритм были просто паясничанием. Уж я-то понимаю в масках и лицедействе. Я в них дока. Он был куда интеллигентнее, чем казался.

Слушая эти ее речи, мы по новой уверились, что между ними возгорелась страсть. Они явно были родственными душами, иначе бы она не стала так о нем говорить, хотя фраза про «сразу

несколько вдов» вроде бы этому и противоречила, а может, как раз наоборот. Возможно, они продолжали общаться при помощи корабельного телеграфа, и я сделал мысленную заметку: надо бы спросить об этом мистера Толроя. Да и вообще, от Порт-Саида до Лондона вовсе не так далеко.

А потом разговоры про мистера Мазаппу прекратились. Даже с ее стороны. Она замкнулась. Почти каждый день я подмечал ее в тенистой части второй палубы, в шезлонге. При ней всегда был роман «Волшебная гора», но никто ни разу не видел, чтобы она его читала. Мисс Ласкети по большей части поглощала детективы, которые ее неизменно разочаровывали. Полагаю, для нее мир был куда более непредсказуем, чем сюжет любой книги. Дважды на моих глазах развязка сюжета так ее разгневала, что она поднялась с шезлонга, вышла из тени и швырнула книжку за борт.

Сунил, «Хайдерабадский мудрец» из труппы «Джанкла», теперь часто появлялся рядом с Эмили. Полагаю, кузину прельстило, а потом искусило то, что он был гораздо взрослее ее. Я всегда узнавал Сунила издалека — по худобе, по пружинистой походке. Следил за ними и видел, как ладонь его ползет по ее предплечью, скрывается

в рукаве, направляя ее движения, при этом он не переставая рассказывает про закоулки мира, в который она так рвалась.

Но когда мы пришли в Порт-Саид, стало заметно, что им как-то тягостно вместе. Он говорил ей что-то на ходу, для убедительности жестикулируя тонкой сильной рукой, а потом, увидев, что она не слушает, вдруг начинал фальшиво шутить. Одиннадцатилетний мальчик не хуже натасканного пса распознает смысл чужих жестов и прекрасно видит, как усиливается и ослабевает притяжение между людьми. Полагаю, у Эмили не было иной силы, кроме юности и красоты, разве что нечто такое, о чем она сама не подозревала. А он пытался завоевать ее разговорами, а если они не помогали — принимался стремительно жонглировать попавшимися под руку предметами или делал стойку на одной руке.

Даже не будь с ним рядом Эмили, я бы им все равно заинтересовался.

Я устроился на равном расстоянии от трех столов в ресторане. За одним расположилась очень рослая пара с маленьким ребенком, за другим две женщины перешептывались, а еще где-то сидели двое мрачных мужчин. Я опустил голову и делал вид, что читаю. А сам слушал. Мне ка-

залось, мои уши, как локаторы, направлены на пару с ребенком. Она рассказывала ему о болях в груди. Потом поинтересовалась, хорошо ли он спал. Он ответил: «Понятия не имею». А за другим столом одна из шепчущихся говорила: «Вот я его и спрашиваю: как это может быть — одновременно и афродизиак, и слабительное? А он в ответ: "Смотря когда принимать"». А за третьим столом ничего не происходило. Тогда я снова стал прислушиваться к рослой паре с ребенком, к доктору и его жене. Он перечислял, какие ей нужно принимать порошки.

Так я делал, где бы ни оказался, ибо мисс Ласкети сказала: «Ты держи ухо востро, а глаз зорко. Тут многому можно научиться». И я продолжал заполнять старую экзаменационную тетрадку из колледжа Святого Фомы подслушанными разговорами.

Экзаменационная тетрадь. Подслушанные разговоры

Дни с 12-го по 18-й

«Если стрихнин не жевать, глотать его можно, уж ты мне поверь».

«Джаспер Маскилин, фокусник, устроил всю эту чухню в пустыне во время

войны. Собственно, фокусником он стал, когда война окончилась».

«Бросать что-либо за борт строжайше воспрещено, мадам».

«Он один из корабельных охотников за сексом. Мы зовем его Турникетом».

«У Джигса, ясное дело, мы ключ никогда не достанем». — «Придется тогда у Переры. — «Я кто же тут Перера?»

После отбытия мистера Мазаппы «кошкин стол» обуяло уныние, поэтому мистер Дэниелс решил организовать для нас неформальный ужин и пригласить еще несколько гостей. Мне было поручено позвать Эмили, которая спросила, можно ли привести подругу, глухую девочку Асунту. Эмили, похоже, все решительнее брала ту под свое крыло. Знахарь, оставшийся без дела после смерти мистера де Сильвы, тоже получил приглашение. Их с мистером Дэниелсом часто можно было видеть на палубе — они прогуливались, погрузившись в беседу.

Мы собрались в нашей тайной штаб-квартире и вскоре уже лезли по металлическим трапам в темноту. Полагаю, до этого только мы с Кассием и Рамадином, да еще знахарь, успели побывать

в «саду», остальные же понятия не имели, куда направляются, и тихонько ворчали. Спустив гостей до самого низу, мистер Дэниелс погнал их в пустой, темный мир трюма. Настенная роспись — изображение голых дам — возбудила любопытство и сдержанные смешки. Кассий к этому времени уже успел ее неплохо изучить. Он умудрился слазить в трюм в одиночестве, поставить перед росписью ящик, вскарабкаться на него и оказаться на одном уровне с массивными телами. Простоял там чуть не полдня, молча, в полутьме.

Мистер Дэниелс понуждал нас идти все дальше, и вот, повернув за угол, мы увидели залитый светом и уставленный яствами стол. Ворчание тут же стихло. Была тут даже музыка. Похоже, граммофон мисс Квин-Кардиф позаимствовали снова, на сей раз у матросов, отвечавших за откачку воды и трудившихся в другой части трюма, и Эмили начала выбирать пластинки из лежавшей тут же стопки. Нам поведали, что некоторые оставил после себя мистер Мазаппа. Другие гости прогуливались по ровным дорожкам, мимо зеленых крон, и знахарь объяснял, будто бы по секрету (он всегда говорил только так), что оксалиновой кислотой звездообразного старфрута начищают храмовую медь. Эмили не терпелось

потанцевать, она обняла молчаливую Асунту и начала раскачиваться в такт музыке, ее желтое платье мелькало все дальше на узкой дорожке, она и сама казалась звездой.

Когда я вспоминаю трапезы на «Оронсее», в голову первым делом приходит не ресторан «Балморал», где нас посадили так далеко от капитана, в самом затрапезном месте, а этот освещенный прямоугольник в чреве судна. Нам выдали бокалы с тамариндовым напитком, в котором, подозреваю, было на палец алкоголя. Хозяин зажег одну из своих особых сигарет, и я заметил, что мисс Ласкети, склонившаяся было к какому-то невысокому растению, подняла голову и принюхалась.

— Непостижимый вы человек, — пробормотала она, подходя к мистеру Дэниелсу. — Вашими невинными с виду листочками можно отравить любого диктатора.

Потом, когда мистер Дэниелс заговорил об антибактериальных свойствах красного перца и о папайе, *с* помощью которой можно разжижать тромбы после операции, она положила ладонь ему на рукав и добавила:

— А еще вы очень пригодились бы в больнице Гая.

Мистер Гунесекера, бродивший среди нас точно призрак, согласно кивнул; впрочем, он кивал на любое услышанное замечание — это позволяло ему не говорить. Он следил, как наш хозяин, стоявший теперь рядом со знахарем, демонстрирует мадагаскарский барвинок (от диабета и лейкемии, по его словам), а потом срывает кислые индонезийские лаймы, «чудодейственный фрукт», как он выразился, — скоро он нам его подаст.

И вот мы уселись за новый «кошкин стол». Фонари покачивались над головами, — похоже, в этот вечер в трюме немного сквозило, или на море началась качка? За спиной у нас вырисовывались темные листья рододендрона и горлянки. На столе стояли вазы со срезанными цветами, а напротив меня сидела моя кузина, положив ладони на скатерть, лицо в мерцающем свете казалось напряженным. Сбоку от нее сидел мистер Невил. Великанские руки, которыми он когда-то демонтировал корабли, тянулись к вазе, слегка ее потряхивали — цветок покачивался в воде в трепещущем свете лампы. Мистер Невил, как всегда, спокойно и ненавязчиво молчал, его не заботило, что никто с ним не разговаривает. Эмили наклонилась в другую сторону и что-то

прошептала подруге. Та немного подумала и шепнула Эмили в ухо свой ответный секрет.

Никто за этой трапезой не спешил. Скрытые тенью, мы казались неприкаянными, пока не нагибались вперед и не попадали на свет. Двигались мы медленно, будто в полусне. Граммофон завели заново, по кругу передавали блюдо с индонезийскими лаймами.

— За мистера Мазаппу, — тихо произнес мистер Дэниелс.

— И за Солнечный Луг, — откликнулись мы.

Слова разнеслись эхом по гулкому трюму, некоторое время все сидели недвижно. Лишь граммофон продолжал играть, сонно выдыхая звуки саксофона. Незримый таймер включил легкую морось, минут десять она падала на листья и на накрытый стол, на наши руки и плечи. Никто не двинулся, не стал заслоняться. Пластинка кончилась, мы услышали скрип иголки, просившей, чтобы ее подняли. Девушки, сидевшие передо мной, перешептывались, я следил за ними, внимательно вслушивался. Всем зрением я сосредоточился на накрашенных губах кузины. Время от времени улавливал слово-другое. «Почему? Когда это случилось?» Девочка покачала головой. Кажется, она проговорила: «Ты можешь

нам помочь». А Эмили опустила глаза и долго молчала, задумавшись. Две стороны стола разделял темный провал, я смотрел на них через него, с другой стороны. Где-то послышался смех, но я молчал. Заметил, что мистер Гунесекера тоже смотрит прямо перед тобой.

— Он твой отец? — вопросительно проговорила Эмили.

Девочка кивнула.

Асунта

Ни с кем на судне она не говорила о том, что совершил ее отец. Так же как, будучи еще совсем маленькой, никогда не разглашала и не подтверждала, где он и чем занят. Даже когда его в первый раз арестовали и посадили в тюрьму. Тогда он был обычным вором, занимался своим ремеслом в тех местах, где и закона-то почти нет. Начал молодым, самоуверенным хулиганом, потом вырос.

Был он наполовину азиатом, наполовину кем-то еще. Кем именно — и сам не знал наверняка. Имя Нимейер вполне могло быть получено в наследство, или украдено, или измышлено. Когда его посадили в тюрьму, жена с дочерью остались почти без единой рупии. Жена постепенно начала терять рассудок, и девочка скоро поняла, что на мать уже нельзя полагаться. Та молчала, замкнувшись, или огрызалась на всех подряд, даже на маленькую дочь. Соседи пытались ей хоть как-то помочь, но она со всеми рассорилась. Наносила самой себе увечья. Девочке было всего десять лет.

Кто-то подвез ее до Калутары, где находилась тюрьма. Девочке дали свидание с отцом. Они поговорили. Он назвал ей имя своей сестры, жившей в одной из южных провинций. Звали сестру Пасипией. Больше отец, похоже, ничем не мог ей помочь. Только назвал это имя. Нимейеру было тогда лет тридцать шесть. Она увидела его, заточенного в темной камере, он еще не потерял проворства, но все жесты сделались будто бы приглушенными. Он не мог обнять дочь через решетку. Через прутья, между которыми он проскользнул бы в свои воровские годы, намазавшись маслом. Но ей он показался могучим, он ходил взад-вперед во внушительном молчании, у него был негромкий голос, который, казалось, перепрыгивал расстояние и проникал в вас шепотом.

Добраться домой оказалось сложнее. В пути ей исполнилось одиннадцать. Она внезапно вспомнила об этом, пока шла пешком из Калутары — примерно пятьдесят километров. Матери не оказалось ни дома, ни вообще в деревне. Она оставила дочке небольшой подарок, завернутый в зеленый лист: браслет, коричневый кожаный ремешок, частично расшитый бисером. Девочка видела, как мать нашивает этот бисер в послед-

ние недели еще не полного безумия. Она надела его на правую руку. Когда рука выросла и браслет больше не застегивался, стала носить его в волосах.

По ночам она оставалась в хижине одна, все ждала, когда же вернется мама, лампу почти не зажигала — масла осталось на полсантиметра. Когда приходила ночь, принимала ее и проводила во сне, засыпала в восемь, просыпалась в сумеречном четвертом часу, заняться до рассвета ей было нечем. Она лежала на циновке и мысленно вычерчивала карту окрестностей, прикидывала, куда завтра пойдет искать маму. Та могла быть где угодно — скрываться в опустевшей деревне или на берегу какой — нибудь речки, где ветви нависают над быстрой водой. Мама в своем отчаянии могла соскользнуть с берега или, переходя вброд лагуну, вдруг обессилеть на полдороге. Девочка боялась всех водных пространств, их внутренней тьмы, — можно разглядеть под поверхностью, как эта тьма пытается пробиться к свету.

Пробужденная птичьими криками, она выходила из хижины и шла искать маму. Соседи предлагали забрать ее к себе, но на ночь она неизменно возвращалась в свой дом. Она дала

зарок, что станет искать две недели. После этого еще неделю провела на месте. В конце концов написала на дощечке записку, повесила дощечку на стену над материнской циновкой и ушла из своего единственного дома.

Она двинулась вглубь страны, к югу; питалась фруктами и овощами, которые находила. Но ей страшно хотелось мяса. Несколько раз она подходила к домам, просила еды, ей давали *дал.* Она не рассказывала о себе, сообщала лишь, что уже неделю в пути. Она проходила мимо монахов, тянувших чашечки для подаяния, проходила мимо кокосовых плантаций — сторожам при воротах кто-то привозил на велосипеде обед. Она останавливалась рядом со сторожами, вступала с ними в разговор, только чтобы втянуть запах еды, которую они поглощали прямо у нее перед носом. В одной деревне она увязалась за приблудным псом, тот привел ее на задворки, куда только что выплеснули отбросы из кухни. Она отыскала лопнувший, похожий на лепесток плод хлебного дерева и вгрызалась в мякоть, пока ее не замутило; потом внезапно подскочила температура. Она забралась в речку и сидела там, держась за ветку, надеясь, что жар спадет. На восьмой день своего странствия она увидела четверых мужчин,

которые несли по дороге батут. Теперь она знала, где она. Пошла за ними, держась на расстоянии; в конце концов они обернулись и спросили, кто она такая, но она ничего не ответила. Увеличила дистанцию, однако из виду их не теряла, даже когда они свернули в поле и скрылись за пологим холмом. Так она отыскала дорогу к шатрам. Спросила, где найти Пасипию, худощавый мужчина отвел ее к женщине. То была сестра ее отца.

В чем-то Пасипия была похожа на брата. Тоже двигалась по-звериному. Была она очень рослой, а с окружающими, как с мужчинами, так и с женщинами, обращалась, пожалуй, даже суровее, чем ее брат. Она руководила небольшим бродячим цирком, и держался он на строгом соблюдении правил. С дочерью своего брата, правда, она показала себя иначе. Подхватила Асунту на руки и ушла подальше от актеров, к кустам терновника. Приглаживая пальцами девочкины волосы, она выслушала рассказ о встрече с отцом в тюрьме, об исчезновении матери, а главное — о невыносимом мясном голоде. С девочкиной матерью Пасипия встречалась лишь несколько раз и просто кивнула, чтобы малышка не сумела разгадать, что именно она думает. А потом, решив, что настал подходящий момент,

опустила девочку на землю.

Она отвела Асунту в каждый из шатров. Боковые полотнища были подняты из-за полуденной жары, и девочка видела, как спят среди бела дня акробаты, повернув лица к ветру, который прилетал с самого побережья и врывался в открытые проемы. Хотя она и пропутешествовала больше недели совсем одна, попав на новое место, начала дичиться. Однако тетя ее решила, что девочка по природе не слишком пуглива. Она ведь дочь своего отца, так? Тем не менее в первую неделю девочка не отходила от Пасипии, мешая той готовиться к выступлениям. В следующие дни предстояло дать несколько представлений в деревне Бедегама. Потом цирк двинется дальше. Каждую неделю — новая деревня южной провинции. В противном случае музыканты начнут чудить. Кто-нибудь из них обязательно прельстится местной красоткой и сбежит. Работы у музыкантов было немного, но какой же цирк без фанфар?

Связанная девочкой, Пасипия теперь репетировала перед восходом солнца; если кому-то не спалось, до них доносились уханья батута, Пасипия взмывала в полутемный воздух, приземлялась на спину или на колени, подскакивала

еще выше во тьму. Когда вставало солнце, она шла, покрытая потом, к фермерскому колодцу, вытягивала на веревке ведро воды и обливалась раз за разом. Обливания у колодца всегда были ее особым удовольствием. Потом она шла обратно в мокром до нитке костюме — он успевал высохнуть по пути к шатру, где в это время просыпалась девочка. Пасипия, похоже, лишилась всей своей независимости. У нее отродясь не было ни мужа, ни детей, а теперь вот завелась эта девочка — и придется ее растить, пока не вернется брат.

* * *

Истории всегда обгоняют нас и бегут впереди. Едва намеченные. А мы постепенно вливаемся в них и начинаем их подпитывать. Отыскиваем панцирь, который вберет в себя и испытает на прочность наш характер. Таким образом прокладываем свой жизненный путь. И поэтому уже через несколько недель девочка Асунта оказалась в воздухе, ее поддерживала вытянутая рука, а потом подбрасывала навстречу другой руке, которая уже свешивалась с другого дерева, подальше. Она пошла в отца, у нее был крепкий и легкий костяк, а под первыми страхами обнаружился самодостаточный характер. С этим ей еще предстояло разделаться, чтобы научиться доверять. Пасипия

помогла. Пасипия тоже была когда-то немыслимо самодостаточна, из тех детей, которые выглядят вроде как изумленными, а при этом хранят в себе гнев, способный внушить страх и родителям, и друзьям родителей. Вот только акробату никак без доверия к тем, с кем он работает.

Стоило найти участок дороги, обсаженный деревьями, и труппа сразу устраивала представление. Крестьяне приходили со своими циновками и садились прямо на асфальт, дело было во второй половине дня, когда жара уже спала, а тени еще не удлинились и не застят актерам глаза. Звучали фанфары, некоторые — из глубины леса, некоторые уж совсем по-волшебному, из верхних ветвей деревьев, где и сидел музыкант. И сверху соскальзывал по канату человек, вроде как охваченный пламенем, за ним тянулся хвост дыма, он пролетал прямо над головами зрителей — к плечам прикреплены горящие факелы, — и дуга завершалась на следующем дереве, где он ловил другой канат и летел дальше, продвигаясь мимо зрителей, густо наводнивших дорогу. От него исходили свистки и звуки арфы, в конце концов он нырял в крону очередного дерева и исчезал навсегда.

А потом выходили остальные, в красочных

лохмотьях, и в течение часа прыгали с деревьев в никуда, и на лету их подхватывали те, кто, казалось бы, падал с еще большей высоты. Человек, усыпанный мукой, рушился на центральный батут и восставал из поднятого им облака. Канатоходцы вышагивали от дерева к дереву, несли наполненные до краев ведра, поскальзывались на полпути и повисали на одной руке, опрокидывали ведра на зрителей. Иногда в них была вода, иногда — муравьи. Всякий раз, как они ступали на канат, барабанщик предупреждал об опасности и сложности номера, а труба верещала и хохотала вместе со зрителями. В результате все рушились на землю. Упав на асфальт, сворачивались клубком, а потом вставали. И стояли только они — пока зрители не вскакивали на ноги. Представление окончено, наверху остался только один акробат, и он громко призывает на помощь, держась за канат одной-единственной пяткой.

Поначалу Асунту ловила только Пасипия. Только доверия к ней у девочки не было. Была одна убежденность, что если уж родственница не выхватит ее из пустоты и не спасет, так уж что там, можно и разбиться при ударе о землю. Потом пришло более суровое испытание — Пасипия отодвинулась от Асунты, стоявшей на высокой

ветке, и приказала прыгать к другому акробату. Зная, что если стоять и ждать, страх только умножится, девочка преодолела его в один миг. Тот, кто должен был ее поймать, едва успел занять свою позицию.

Так вот девочка и вступила в предназначенный ей панцирь. Она стала членом труппы из семи человек, которая кочевала по провинциям южного побережья, она жила в одном из четырех шатров, под неусыпным присмотром Пасипии, велевшей ей сторониться музыкантов с их похотливым нравом. Однажды посреди выступления, выглянув из ветвей, она увидела в негустой толпе зрителей отца, и слетела к нему на одной руке, и обняла его, и до конца представления от него не отходила. Он пробыл с ними несколько дней. Правда, со скуки он не находил себе места, и Асунта с Пасипией чувствовали себя с ним неловко. Он быстро понял, что более надежного места для дочери не найти. Здесь, в цирке, у нее своя жизнь — а с ним бы своей у нее не было.

Она даже и не подумала о том, чтобы уехать с ним. И с этого раза, когда они встречались, дочь смотрела на отца взглядом взрослого человека и видела, как он все глубже скатывался в бездну преступного мира. Когда он однажды приехал,

уж совсем крепко схваченный тисками своей заоблачной зависимости, Асунта вычеркнула его из своей жизни. Лишь смотрела, как он заводит дружбу с акробатом по имени Сунил, тем, что носил маску птицы, смотрела, как отец смеется вместе с юношей, пытается очаровать того своим голосом.

Все три года, что она его не видела, мир их был полон историй о Нимейере — он успел сделаться популярным, можно сказать даже любимым, преступником. Вокруг него собралась банда, в ее числе были убийцы, призраки мира политики, оказывавшиеся то в его пределах, то вне их. Он по-прежнему носил свое иностранное имя — знак презрения к истеблишменту. В руках этого человека такое наследие, полученное от некоего древнего европейского предка, а может, от кого-то еще, выглядело нелепым, и имя, за которое «наследник» так цеплялся, подвергалось насмешкам. У Асунты лишь изредка возникало желание утешиться его присутствием. В ее жизни были иные опасности. Выполняя трюки, она сломала нос, потом запястье — то, на котором по — прежнему носила материнский подарок из бисера и кожи.

А в семнадцать лет, когда она уже доросла до ма-

стерства и уверенности, она неудачно упала. Они репетировали трюк — падение понарошку. Прыгнув с высокой ветки, она оттолкнулась подальше от ствола и, не рассчитав, не попала в руки тому, кто должен был ее поймать, — упала на дорогу и ударилась виском о верстовой столб. Придя в сознание, она никак не могла расслышать, что там ей так истово толкует Пасипия. Асунта все кивала и кивала, невзирая на боль, делая вид, что понимает, о чем речь. Страх, который вроде бы давно ушел, вернулся снова. Она поняла, что отныне будет обузой остальным шести членам труппы, ставшим для нее семьей. Месяц спустя, все еще погруженная в глухоту, она ускользнула из своего избранного мира.

Когда в труппе поняли, что она не вернется, Пасипия отправила на ее поиски Сунила — это он поймал ее в самый первый раз, когда она смогла довериться кому-то, кроме тетки, это он отчаянным рывком попытался предотвратить ее роковое падение. Он добрался до Коломбо и исчез. Больше Пасипия ничего про него не слышала.

Сунил попал на предварительное слушание дела Нимейера и увидел Асунту на забитой народом верхней галерее зала суда в Коломбо. Когда суд закончился, он, держась на расстоянии, шел за

ней по узким улочкам с наклонными тротуарами, потом по темному переулку, превратившемуся в улицу золотых дел мастеров. Улица Чеку. Она была по-средневековому напыщенной. Асунта шла все дальше, а потом, где-то на Мессенджер-стрит, вдруг пропала. Сунил замер на месте. Он знал: он-то ее не видит, а она его — да. Она всегда с удивительной быстротой подмечала, что происходит вокруг, а теперь, когда страх ее вернулся, должна была отточить это умение еще больше. Кроме того, он уже заблудился. Всю свою жизнь он провел в южной провинции и совсем не ориентировался в городе. Тут сильная рука схватила его за локоть. Она затащила его в комнату размером с ковер. Он молчал. Знал — она стесняется своей глухоты. Сел и замер.

Говорила она с трудом, растягивая слова. Существование ее, похоже, обессмыслилось, талант вытек наружу. Он провел в этой комнате весь вечер, не сводя с нее глаз, а утром, как они и договорились, пошел с ней в тюрьму, где держали ее отца. Когда ее повели на свидание, дожидался снаружи.

Отец ее подался вперед и произнес одно слово. «„Оронсей“, — сказал он. — Сунил и все остальные тоже будут на борту, будут мне помогать».

Судно пойдет в Англию, они организуют ему побег. После этого он практически просунул лицо между прутьями и продолжал говорить.

У выхода из тюрьмы она увидела худощавую фигуру Сунила. Подошла к нему, обняла за шею и зашептала в ухо, поведала, что должна сделать. Жизнь ее больше ей не принадлежала — она принадлежала отцу.

Средиземное море

Рамадин устроился в тени.

Мы с Кассием скорчились в подвешенной в воздухе спасательной шлюпке. А внизу, на палубе, Эмили перешептывалась с человеком по имени Сунил. Мы верно догадались, где они встретятся, и теперь слышали каждое их слово — раковина нашей шлюпки усиливала голоса. Каждый звук до краев заполнял нашу темноту, жаркое и тесное пространство.

— Нет, не сюда.

— Сюда, — возразил он.

Какое-то шуршание.

— Тогда давай…

— Твой рот. Такая сладость, — говорил он.

— Да. Молоко.

— Молоко?

— Я за ужином съела артишок. Если съесть артишок, а потом выпить молока, молоко станет сладким на вкус… Даже если предлагают вино, я прошу молока. Если до того съела артишок.

Мы не могли понять, о чем речь. Может, они пользуются каким-то тайным шифром? Долгая

пауза. Потом смех.

— Мне скоро нужно уходить… — сказал Сунил.

Рядом что-то происходило, а мы не понимали что.

Кассий перегнулся ко мне и прошептал:

— Где там артишок?

Чиркнула спичка, и я почти сразу почувствовал запах ее сигареты. «Плеерс».

И вдруг они с Сунилом будто сделались совсем чужими, и тут начался куда более таинственный разговор. Непонятное дело. По всей видимости, диалог об артишоке увел нас куда-то не туда. Теперь речь шла о времени и распорядке: как часто ночной вахтенный проходит по прогулочной палубе, в котором часу узнику подают еду, когда выводят на прогулку.

— Я хотел попросить тебя нам помочь… — произнес Сунил, потом они перешли на чуть слышный шепот.

— Он в принципе на такое способен?

Голос Эмили вдруг зазвучал очень отчетливо. И испуганно.

— Он знает, когда часовые теряют бдительность. Или хотят спать. Но он все равно слаб, из-за побоев.

— Его избивали? Когда?

— После циклона.

Мы вспомнили, что после отхода из Адена узника несколько ночей подряд не выводили.

— Они, похоже, что-то заподозрили.

Что заподозрили?..

Казалось, мы с Кассием слышим во тьме мысли друг друга, слышим, как медлительная машинерия наших юных мозгов пытается перемолоть эту скупую информацию.

— Уговори его увидеться с тобой именно здесь. Скажи, когда именно. Мы будем готовы.

Она молчит.

— Он к тебе бегом побежит. — Это Сунил произнес со смехом. — Главное — его не отваживать.

Мне показалось, я услышал имя мистера Дэниелса. А потом Сунил завел речь про какого-то Переру, и скоро глаза у меня начали закрываться сами собой. Когда они ушли, я уснул было прямо в шлюпке, но Кассий растолкал меня, и мы выбрались наружу.

Мистер Джигс

Первую половину плавания пассажиры не выказывали никакого интереса к тому, что на борту «Оронсея» находится английский офицер. Мы иногда замечали, как он в одиночестве бродит по палубам, потом поднимается на узкий балкончик перед капитанском мостиком и сидит там в полотняном кресле, будто полноправный владелец судна. Постепенно всем стало известно, что мистер Джигс — офицер высокого ранга, который был откомандирован в Коломбо и поставлен работать в паре с неким мистером Перерой из отдела уголовного розыска. Им было поручено сопроводить заключенного Нимейера в Англию, где он должен был предстать перед судом. По слухам, Перера обитал в одной из кают туристического класса. Где ночевал англичанин, мы не имели понятия. Пришли к выводу, что в более роскошных апартаментах.

Примерно тогда, когда Нимейера избили, мистер Дэниелс застал мистера Джигса за разговором со стражниками. Он был в ярости. Только было непонятно, обвинял ли он их в жестоко-

сти или просто отчитывал за то, что сведения о побоях просочились наружу. А возможно, рассуждала мисс Ласкети, Джигс негодовал потому, что избиение могло стать для узника своего рода лазейкой, средством защиты на грядущем судебном процессе.

На мой взгляд, самой приметной чертой английского офицера были предплечья, поросшие курчавым рыжим волосом. Мне было трудно на них смотреть. Он носил отглаженные рубашки, шорты и гольфы, но эти рыжие волоски чем-то меня раздражали, и когда на одном из танцевальных вечеров он пригласил на вальс Эмили, меня обуял гнев — будто бы я был ее отцом. Даже мистер Дэниелс больше подходит моей прелестной кузине, подумал я.

Я заловил мисс Ласкети и стал выспрашивать о связи между мистером Джигсом и узником.

— Если он убил судью-англичанина, это очень серьезно. Они не позволят, чтобы его судили на острове. Там только прошло первое слушание, а дальше дело передали в Англию. Да тебе-то что? В общем, этот мистер джигс, вместе еще с одним, по имени Перера, отвечает за то, чтобы довести Нимейера в целости и сохранности. Говорят, тот большой талант по части побегов. Говорят, пона-

чалу его посадили в камеру с толстой деревянной дверью, а он умудрился сжечь ее и убежать, хотя и сам при этом обгорел. Однажды выпрыгнул из поезда вместе с часовым, к которому был прикован наручниками, и тащил беднягу до первой кузницы, хотя тот и упирался. В общем, совсем не подарок.

— А за что он убил судью, тетя?

— Пожалуйста, не зови меня тетей… не знаю. Сама пытаюсь выяснить.

— Судья что, был плохим?

— Не знаю. Разве судьи бывают плохими? Нет, не будем думать такого.

После этого короткого разговора я побрел прочь, так и не поняв, что я должен думать о происходившем. Заметил, как мисс Ласкети, внезапно изменив направление, подошла к мистеру Джигсу и стала ему что-то толковать, умудрившись задержать его внимание и вызвать интерес.

Когда мы вновь встретились за столом, она пересказала, что ей удалось узнать. Судя по всему, джигс и Перера «провели осмотр» судна еще до того, как кто-либо из нас поднялся на борт. Им, как сопровождающим, полагалось в подробностях изучить все палубы. Они заранее заблокировали все возможные пути побега, удалили самые

невинные с виду предметы — противопожарное ведро с песком, металлический шест, — которые можно было использовать в качестве оружия. Пересмотрели списки пассажиров — не окажется ли среди них земляков узника. Наняли охранников с Мальдивских островов, у которых заведомо не могло быть никаких связей на Цейлоне. Два дня они дотошнейшим образом исследовали судно. Теперь же постоянно были настороже — именно поэтому мистер джигс и устроил себе пост на мостике, откуда можно было наблюдать чуть ли не за всем, что происходило на борту. Помимо прочего, он сообщил мисс Ласкети, что столь строгие меры продиктованы серьезностью преступления. Мистер Перера, как оказалось, был лучшим сотрудником уголовной полиции Коломбо, а мистер джигс, по его собственным словам, лучшим, кого смогла прислать Британия. И вот теперь они, а с ними трое охранников с Мальдивов, следили за каждым шагом и движением узника по имени Нимейер.

Слепой Перера

джигс был на «Оронсее» самым заметным и самым обсуждаемым пассажиром, что же до его напарника по предотвращению побега, того часто обсуждали, но редко видели. Мистер Перера, полицейский с Цейлона, ни разу не попался нам на глаза. Кроме того, «Перера» — очень распространенная фамилия. Мы о нем знали одно: что он — «слепой» Перера, так как он происходил из той ветви семьи, где фамилию писали без буквы «й», а вообще существовали как Перера, так и Перейра. Судя по всему, уголовная полиция специально послала сотрудника в штатском: если на борту окажутся соратники заключенного, они не смогут понять, кто именно за ними следит. Так что джигс разгуливал по всему судну, сидел на самом видном месте, рядом с мостиком, а его азиатский коллега, будучи не ниже рангом, оставался невидимым. Мы знали одно: оба они заблаговременно поднялись на борт и досконально обследовали все судно. К тому времени, как мы прибыли на «Оронсей», мистер Перера превратился в одного из пассажиров — аноним,

путешествующий, скорее всего, под чужим именем. Некоторые даже начали подозревать, что на борту находятся два таинственных Переры.

Мы часто говорили о таинственном полицейском агенте. Кто он? Как выглядит? Как-то раз мы с Кассием целый день прослонялись следом за одним странного вида пассажиром, высматривая признаки необычного поведения.

— Существует два типа тайных агентов, — объяснила нам мисс Ласкети. — Работающие на виду и скрытно. Если ты тайный агент, тебе полагается легко, даже настойчиво завязывать знакомства. Входишь в бар и сразу знакомишься со всеми официантками и барменами. С лету заставляешь их поверить в свою личину. Знаешь всех по имени. Нужно обладать быстрой сметкой и мыслить, словно преступник. Но существуют и другие тайные агенты, их работа куда хитроумнее. Вроде этого Переры. Он, наверное, шастает тут повсюду. Просто мы его пока не опознали. джигс работает на виду. А Перера — бог его ведает.

Судя по всему, этот невидимый и «слепой» Перера и был автором того, что впоследствии получило название «агрессивного сценария». Суть его в том, что полицейский агент заводит знакомство с преступником, завоевывает его доверие и

одновременно пытается внушить ему страх, показывая, что он (полицейский агент) — человек еще более опасный и одержимый. Был случай, когда этот Перера — в частной жизни скромный человек и прекрасный семьянин — отвел подозреваемого в королевский лес в Канди и заставил рыть могилу. Потребовал, чтобы та была в длину метр, а в ширину чуть поменьше, — тело придется сложить пополам. Завтра на заре, пояснил он, состоится казнь. Подозреваемый, молодой член одной банды, решил, что у Переры обширные связи в самых высоких криминальных кругах, и тут же выдал всех своих сообщников.

Вот какова была повседневная работа Переры на службе в уголовной полиции. Правда, мы тогда ничего этого не знали.

Сколько вам лет? Как вас зовут?

Если у нас и происходили какие разговоры с официальными лицами, сводились они к ответам на вопросы. Допрашивая нас во время того шторма — а мы дрожали больше от холода, чем от страха, — капитан снова и снова интересовался, сколько нам лет. Мы отвечали, он переваривал, потом забывал и через минуту спрашивал снова. Мы пришли к выводу, что он либо слишком медленно соображает, либо слишком быстро говорит, потому что он переходил к очередному вопросу, даже не дослушав наши ответы. Постепенно до нас дошло, что реплика эта приправлена сиропом глубочайшего презрения. В ней содержался незримый вопрос: «Сколько дури у вас в головах?»

А мы-то считали, что совершили героический поступок. Ибо не равновелики ли эти часы, что мы пролежали пластом во власти циклона, истории про грешника, ослепленного на пути в Дамаск? В более взрослые годы нам утешительно было узнать, что героев, например, Шеклтона, исключали из школы — возможно, за схожие

вещи. «Сколько вам лет, сэр?» — рявкал директор на этого заносчивого и непокорного мальчишку.

В любом случае было очевидно, что капитан не слишком-то жалует свой азиатский груз. Несколько вечеров кряду он декламировал стих А. П. Герберта о растущем национализме на Востоке. Заканчивался стих так:

И птицы все вскричали рьяно:

«Баньян — для жителей Баньяна!»

Капитан очень гордился этим своим номером, и, полагаю, именно тогда и пошатнулось мое убеждение в непогрешимости всех обитателей Главных Столов. Как пошатнулось оно и в тот день, когда, в обществе барона, я переводил взгляд с величественного и благородного бюста Гектора де Сильвы на бездвижное тело, распростертое на постели. Именно это, видимо, и заставило меня через полчаса после того, как тело это погребли в море, подойти к раздвижному столику, на котором позабыто стоял этот самый бюст. Мы с Кассием подняли его (он за уши, я за нос), перевалили через ограждение и отправили за борт вслед за телом.

Похоже, к тому моменту мы уже переросли любопытство в отношении власть имущих. Нам больше был по душе скромный мистер Дэниелс,

весь ушедший в заботы о своих растениях, и бледная мисс Ласкети, одетая в этот ее голубиный жилет с многочисленными карманами, предназначенными для переноски птиц. Вот такие вот чужаки, как эти двое, и иные обитатели иных «кошкиных столов», встретившиеся на моем жизненном пути, и вызывали во мне перемены.

Портной

Самым молчаливым за нашим столом был портной мистер Гунесекера. Усевшись на свое место в первый день плавания, он представился, протянув свою визитную карточку: «Гунесекера, пошив одежды. Канди, Принс-стрит». Тем самым он сообщил о своей профессии. За трапезами оставался молчаливым и всем довольным. Смеялся, когда смеялись другие, не превращаясь в пятно неловкого молчания. Но я так и не узнал, понятна ли ему суть наших шуток. Подозреваю, что нет. Тем не менее был он человеком галантным и деликатным, даже если наша шумливость его и коробила, особенно когда мистер Мазаппа разражался своим лошадиным хохотом. При этом он всегда первым отодвигал стул для мисс Ласкети и, угадав смысл наших жестов, передавал солонку или обмахивал ладонью рот, предупреждая, что суп очень горячий. В результате выглядело все так, будто он горячо интересуется застольным разговором. И тем не менее до сих пор, на протяжении всего пути, мистер Гунесекера не произнес ни единого слова. Даже если мы заговаривали с

ним по-сингалезски, он витиевато пожимал плечами и вращал головой, будто просил прощения за отказ от беседы.

Был он мелкотравчатым и худосочным. Пока он ел, я следил за его тонкими пальцами, которые дома, на Принс-стрит, небось шили и кроили с безумной скоростью, — там, в избранном кругу, он, полагаю, был вполне разговорчив. В один прекрасный вечер к нашему столу подошла Эмили. Под глазом у нее краснело пятно — днем ее случайно ударили бадминтонной ракеткой. На лице у мистера Гунесекеры отразилась тревога, он развернулся на стуле, вытянул руку и ощупал вспухший участок своими тонкими пальцами, будто выискивая причину вздутия. Эмили, которую это почему-то тронуло, положила руку ему на плечо, а потом на миг задержала его пальцы в своих. То был один из немногих моментов, когда над нашим столом повисла тишина.

А позднее мистер Невил заметил, что у мистера Гунесекеры на шее следы куда более серьезной раны, но он неизменно прикрывает ее красным хлопковым платком. Случалось, платок соскальзывал, и шрам оказывался на виду. После этого мы не приставали к мистеру Гунесекере с вопросами. Так и не поинтересовались, зачем он

плывет в Англию — хоронить родственника или лечить каким-то особым способом голосовые связки. Непохоже было, что он едет просто в отпуск, — зачем, если он не может или не хочет ни с кем разговаривать.

Каждое утро, при первых лучах рассвета, я слизывал соль с палубного ограждения. Мне уже казалось, что я различаю на вкус Индийский океан и Средиземное море. Потом я прыгал в бассейн и плавал по-лягушачьи под водой, переворачивался у бортика и плыл обратно, проверяя на прочность свои легкие, оба свои сердца. Наблюдал, как мисс Ласкети галопом несется через очередной детектив, постепенно впадает от него в раздражение и изготавливается швырнуть его в очередное море. А что касается остальных — я упивался присутствием Эмили, которая, проходя мимо, заговаривала с нами.

— Глупо думать, что для мироздания ты — ничто, — сказал мне как-то мистер Мазаппа.

А может, мисс Ласкети. Теперь уже не помню, кто именно, — к концу путешествия высказывания их как-то перемешались. Оглядываясь назад, я не могу вспомнить наверняка, кто именно дал мне какой совет, кто показал себя другом, кто предателем. Да и смысл многих событий я разга-

дал только много позже.

Вот не припомню, кто же рассказал нам о генуэзском палаццо арматоров? А может, я сам, много лет спустя, уже взрослым, вошел в это здание и долго взбирался по каменной лестнице с этажа на этаж? В результате посещение палаццо арматоров помогло мне понять, как мы воображаем себе будущее и как оглядываемся на прошлое. Начинается все с первого этажа, где висит несколько примитивных карт местных гаваней и недальних берегов, а по мере продвижения вверх, с этажа на этаж, карты заполняются полуоткрытыми, еще безымянными, морями и островами, где-то намечаются очертания неведомого континента. Где-то на средних этажах пианист играет Брамса. Вы слышите его, поднимаясь все выше. Даже заглядываете вниз, в лестничный проем, откуда доносится музыка. Звучит Брамс, а перед вами — изображения новорожденных судов, соскальзывающих со стапелей как некая прелюдия к дивному сну купца, в котором может приключиться что угодно — от великого богатства до губительной бури. Один мой предок владел семью кораблями, которые сгорели где-то между Индией и Тапробаной. У него не было стены, увешанной картами, но он в одном

походил на этих судовладельцев: тоже не имел даже приблизительного понятия о будущем. На картинах, которыми увешаны стены первых четырех этажей генуэзского палаццо арматоров, нет человеческих фигур. А потом добираешься до пятого — и перед тобой целое собрание мадонн.

За «кошкиным столом» говорили про итальянское искусство. Слово взяла мисс Ласкети — она прожила в Италии несколько лет.

— Понимаете, у мадонн всегда этакое выражение лица — потому что они знают: Он умрет молодым… и не помогут все эти ангелы, которые обступают младенца, и над головой у них этот сполох пламени как струйка крови. Мадонне ведь дана особая мудрость, так что она прозревает окончательную картину, знает, какая именно смерть его ждет. И не важно, что местная девчонка, позировавшая художнику, была совершенно не в состоянии изобразить этот всезнающий взгляд. Да и сам художник, скорее всего, не умел его передать. Создать его можем только мы, зрители, — мы вычитываем на ее лице это самое знание будущего. Что случится с ее сыном, предрешено историей. Предзнание этой трагедии — в глазах смотрящего.

Возвращаюсь мыслями вспять не только к

этому разговору за корабельным столом, но и к вечерам на Милл-Хилл, когда я был подростком. Мы с Масси и Рамадином быстренько доели карри, поданное на ужин в доме их родителей, и мчимся на станцию, чтобы успеть на поезд 19:05 в город. Мы прослышали про некий джаз-клуб. Нам соответственно шестнадцать и семнадцать. И теперь я понимаю: вот он, этот взгляд, обращенный далеко в будущее, — взгляд матери Рамадина на ее первенца с его больным сердцем.

Вчера мне впервые приснилась Масси. Мы расстались много лет назад. Я стоял среди каких-то альпийских домиков — люди жили на втором этаже, первый был отдан животным. Я много лет не видел ее во сне, а уж наяву — тем более.

Она вышла на сцену, а я оставался в укрытии. Темные волосы коротко пострижены, не так, как когда мы жили вместе. Лицо стало явственнее, появились интересные новые ракурсы. Она выглядела здоровой. Я понял, что могу снова в нее влюбиться. Притом что не мог влюбиться в ту, какой она была раньше, наделенную общей историей и привычной внешностью.

Появился какой-то мужчина, помог ей забраться на стол, и тут я заметил, что она беременна, на раннем сроке. Они что-то услышали и пошли в

мою сторону. Я перепрыгнул через изгородь, упал на колени и помчался по дороге, вдоль которой толпились купцы, кузнецы и плотники, занятые своим трудом. Грохот их орудий напоминал звуки боя. Потом шум превратился в музыку, и я внезапно понял, что никуда не бегу, это Масси мчится меж опасных ритмов ножовок и наковален. Я же — расчленен, меня больше нет на сцене, нет в ее жизни. А она, беременная, полная жизни, ускользает от опасностей. Масси, увенчанная копной темных волос, стремится к чему-то за пределами ее нынешнего существования.

На самой заре своей жизни я научился — или был обучен — искусству легкого расставания с теми, кто близок. Когда мы с Масси решили разойтись, я, несмотря на всю боль, не боролся за нее. Расставание было чуть ли не беспечным. И вот по прошествии времени, но пока вихри и пена нашего общего бытия еще не улеглись, я вдруг начал доискиваться объяснения и причины. Я оголил, как мне казалось, истинную суть наших отношений. Только, разумеется, она не была истинной. Масси говорила, что, оказавшись перед непреодолимыми обстоятельствами, я всегда пользовался одним и тем же трюком. Я превращался в полностью неприкаянное существо. Не

верил ни слову из того, что мне говорили, даже тому, что видел своими глазами.

По ее словам, впечатление было такое, что я вырос с убеждением: все на свете представляет опасность. Наверное, ты когда-то столкнулся с обманом, говорила она. «Так что дружить и сходиться ты можешь только с теми, кто по-настоящему тебе не близок». А потом она спросила напрямую: так ты все еще веришь, что твоя кузина — убийца? И если ты раскроешься, скажешь всю правду, это может ей сильно навредить?

— Это твое оглядчивое сердце, черт тебя побери. Чья же это любовь довела тебя до такого?

— Я любил тебя.

— Чего?

— Я сказал: я любил тебя.

— Не думаю. Кто-то лишил тебя этой способности. Расскажи наконец, что случилось, когда ты приехал в Англию.

— Поступил в школу.

— Нет, когда ты *только* приехал. Я знаю: что-то случилось. Когда я увидела тебя снова, после смерти Рамадина, мне показалось, что с тобой все в порядке. Но похоже, я ошиблась. В чем?

— Я сказал. Я любил тебя.

— Ну да, любил. А теперь мы расходимся, вер-

но? Так вот мы и испепелили то хорошее, что еще оставалось между нами, а стоило ли?

Каждый день после отхода из Порт-Саида оркестранты в костюмах сливового цвета играли вальсы на прогулочной палубе; похоже, туда высыпали все пассажиры, дабы насладиться ласковым средиземноморским солнцем. Мистер джигс прогуливался меж нами, пожимая руки. Тут же был и мистер Гунесекера, с обычным красным платком на шее, — он раскланивался на ходу. Мисс Ласкети надевала свой «голубиный» жилет с десятью мягкими карманами, в каждом сидело по турману или хохлачу с торчащими наружу головками: мисс Ласкети выносила их на палубу подышать морским воздухом. А мистера Мазаппы не было. Его словесный карнавал закончился. Было лишь несколько вспышек ажиотажа, самая серьезная из-за того, что вскоре после выхода из Порт-Саида веймараниха О'Нила якобы сиганула за борт и поплыла к берегу. Мы-то не сомневались: упади собака в воду, мистер Инвернио прыгнул бы за ней следом. Но нас всяко порадовало исчезновение этой чемпионки, дважды бравшей медали на выставке «Крафте»: это означало новые проблемы для капитана. Еще одна промашка, заметила мисс Ласкети, и

для него она может стать последней. В нашей каюте, с глазу на глаз, мистер Хейсти намекнул, что Инвернио просто припрятал веймараниху, ибо совершенно очевидно: он в ней души не чает, а ее исчезновением никак не огорчился. Мистер Хейсти добавил, что не удивится если через несколько недель миссис Инвернио, если таковая вообще существует, будет замечена в Баттерси-парке с этой самой бесценной псиной на поводке.

В один из вечеров на прогулочной палубе состоялся концерт на открытом воздухе, его сопровождал гул моря. Исполняли классику — мы с Кассием и Рамадином о ней тогда не имели ни малейшего понятия, а поскольку все трое заблаговременно завладели стульями в первом ряду, просто встать и уйти было нельзя, разве что изобразив внезапное недомогание. Я не прислушивался, вместо этого воображал, как бы подраматичнее подняться и выйти, прижав руки к животу. И все же кое-что слышал — и звуки казались знакомыми. Они исходили от рыжей женщины, которая, сидя на сцене, то так, то этак откидывала волосы и играла одна, когда остальные музыканты смолкали. Было в ней нечто знакомое. Может, я видел ее в бассейне.

Сзади протянулась рука и стиснула мне плечо, я обернулся.

— Похоже, это твоя скрипачка, — прошептала мне в ухо мисс Ласкети.

Я не раз жаловался ей на шум в соседней каюте. Теперь посмотрел в программку, лежавшую на стуле. Потом на женщину, которая в каждой паузе откидывала назад непослушные волосы. Получается, знакомы мне были не ее черты, а ноты и трели, которые теперь начали вплетаться в игру других музыкантов. Будто случайно, они становились частью схожей с ними мелодии. Наверное, ей это казалось настоящим волшебством после всех этих невыносимых часов в раскаленной каюте.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ТЕТРАДЬ Запись № 30

Преступления, совершенные (до настоящего момента) капитаном «Оронсея»

1. Недосмотр, по которому мистер де Сильва был до смерти укушен животным.

2. Необеспечение безопасности детей во время страшного шторма.

3. Использование грубых, непристой-

ных выражений в присутствии детей.

4. Несправедливое отстранение от должности мистера Хейсти, старшего собачника.

5. Декламация очень оскорбительного стихотворения в конце ужина.

6. Утрата ценного бронзового бюста мистера де Сильвы.

7. Потеря ценной веймаранихи, чемпионки породы.

Мисс Ласкети. Второй портрет

Я недавно был на мастер-классе режиссера Люка Дарденна. Он говорил о том, что у зрителя не должно складываться впечатление, будто он до конца понимает персонажей его фильмов. Сидя в зале, мы не должны считать себя умнее их; мы знаем персонажей не лучше, чем они знают самих себя. Мы не должны уверенно говорить: они поступают так потому-то, не должны смотреть на них свысока. Я с этим согласен. Для меня это — основной принцип искусства. Хотя, подозреваю, таких, как я, немного.

По первому впечатлению мисс Ласкети предстала этакой старой девой и недотрогой. Миры, о которых она рассказывала, нас совсем не интересовали. Она с жаром повествовала о шпалерах и об оттисках с бронзовых рельефов. А потом обмолвилась, что под ее опекой находятся две дюжины почтовых голубей, которых она «везет одному плутократу», ее соседу по графству Кармартеншир. На что, гадали мы, плутократу сдались голуби?

— Тишина в эфире, — проговорила она зага-

дочно.

Когда позднее мы узнали о ее связях на Уайтхолле, история с голубями стала намного очевиднее. А плутократ, надо думать, просто выдумка.

Нас тогда куда больше занимала ее неразделенная привязанность к мистеру Мазаппе. А вот на ее все растущее любопытство относительно узника и двух офицеров (один так и оставался незримым), которые везли Нимейера в Англию, мы смотрели вполглаза. «Этот заключенный, почитай, мой багаж», — заявил мистер джигс как-то за ужином группе поклонников, с притворной скромностью подчеркивая свою важную роль. А что было «багажом» мисс Ласкети? Этого мы не знали. Видел ли я это нечто, когда нанес визит ей в каюту в начале плаванья, когда она пожелала обсудить, что связывает меня с бароном? Ибо если и был странный момент в моих отношениях с мисс Ласкети, он случился, когда она попросила меня во время чая зайти к ней в каюту.

И вот теперь я пробираюсь по почти заглохшей тропинке в тот незабываемый день. К моему удивлению, в каюте оказалась еще и Эмили — можно подумать, мисс Ласкети пригласила ее специально, чтобы обсудить со мной нечто важное. На столе — чай и печенье. Мы с Эмили сидим,

выпрямив спины, на двух стульях (других в каюте нет), мисс Ласкети расположилась в изножье кровати и подалась вперед, чтобы удобнее было говорить. Каюта куда больше моей, в ней полно непонятных предметов. Рядом с мисс Ласкети какой-то массивный ковер. Впоследствии мне объяснили, что это шпалера.

— Я как раз говорила Эмили, что зовут меня Перинетта. Кажется, это такой сорт яблок, они растут в Нидерландах.

Она повторяет имя полушепотом, будто сожалея, что слишком редко слышит его в устах окружающих. Потом начинает говорить. О своей молодости, как она любила иностранные языки, как в ранние годы попадала в переделки, «пока не случилась одна вещь — она меня и спасла». Когда Эмили начинает допытываться, мисс Ласкети отрезает: «Я тебе в другой раз расскажу».

Как мне кажется теперь, этот экскурс в прошлое служил одной цели — убедительнее предостеречь меня от связей с бароном, о которых она каким-то образом прослышала. Рядом сидит с серьезным видом Эмили и постоянно кивает, подчеркивая, что речь идет о важных вещах. А я слушаю вполуха. Я поймал взгляд еще одного персонажа, затиснутого в уголок каюты. Это голый манекен,

на плечи которому накинуты какие-то одежды мисс Ласкети. Она продолжает говорить, а я замечаю шрам на алебастровом животе, — похоже, его начертили краской или карандашом совсем недавно. А вот лицо выискивает меня, смотрит с полной открытостью, совершенно беззащитно. Передо мной более юная, менее самоуверенная мисс Ласкети — только вот с этой раной. И лишь сейчас, когда я взялся это писать, меня вдруг осенило: то могла быть статуя бодхисаттвы. Да, возможно, — это мирское, всеприемлющее лицо… мисс Ласкети не умолкает. И если глаза мои и отрывались от нее в тот день, пока она говорила о моих связях с бароном, так только потому, что меня притягивал этот полный понимания взгляд. Возможно, она специально села на кровать, чтобы фигура манила меня из-за ее спины.

Перед самым нашим уходом она шагнула-таки к тому, что меня так занимало, и сняла полупрозрачную ткань, скрывавшую глубокий надрез в плоти.

— Вот, видишь? Такие вещи можно перенести. Надо учиться изменять свою жизнь.

Тогда я не усмотрел в этой фразе никакого смысла, однако слова запомнил. Я успел рассмотреть вполне правдоподобную рану вблизи, хотя

через миг ткань опустилась на место. Все было на виду.

Мисс Ласкети обладала авторитетом, о котором мы даже не подозревали. Теперь я почти уверен, что это она убедила барона сойти с судна в Порт-Саиде, предупредив, что, оставшись, он рискует разоблачением. А потом был совершенно ирреальный эпизод, настолько ирреальный, что мог запросто случиться во сне, когда то ли Кассий, то ли я шли ей навстречу, — было это поздно, ближе к сумеркам, и тот из нас двоих, кто там был, вроде как заметил, что она протирает краешком блузки нечто вроде небольшого пистолетика. Эта деталь ну никак не вязалась с ее образом. В детстве мы способны вообразить и принять почти что угодно. Мы знали, что она нам симпатизирует. Случалось, она посвящала дневные часы Кассию, который заинтересовался ее альбомом для набросков. С ней было очень легко разговаривать.

С этим полумифическим пистолетом связан еще один эпизод. Однажды днем, занимаясь с Кассием, мисс Ласкети одолжила ему вечное перо. Он об этом позабыл, а потом, уже после ужина, нащупал перо в кармане брюк. Мисс Ласкети он отыскал за одним из столов — она была увлечена разговором, а сумочка ее висела тут же на спинке

стула. Кассий наклонился, чтобы, не отвлекая ее, положить перо в сумочку, но тут ее обнаженная рука быстрым змеиным движением перехватила его ладонь и вынула из нее перо. Она даже не обернулась и не взглянула на него.

— Спасибо, Кассий, всё на месте, — сказала она и продолжила свою речь.

Для нас это стало еще одной уликой.

Несмотря на самоуверенность, она никогда никого не судила. Похоже, раздражал ее один-единственный человек, а именно мистер джигс, да и то потому, что она считала его хвастуном. Он постоянно разглагольствовал, какой он меткий и умелый стрелок. То, что мисс Ласкети тоже меткий стрелок, выяснилось много позднее, когда мы обнаружили фотографию юной Перинетты Ласкети, которая идет себе, посмеиваясь, от многократно пробитой в «яблочко» мишени на состязаниях в Бисли рядом с героем войны, поляком Юлиусом Гружей, который впоследствии представлял Англию на Играх Содружества в стрельбе с пятидесяти метров по движущейся мишени. Кстати, именно в статье, посвященной Груже, и упомянута меткость мисс Ласкети, хотя куда более пространно повествуется о возможных романтических отношениях изображенной

на фотографии пары. Твидовый пиджак, светлые волосы пронизаны солнцем — она совсем не похожа на блеклую «старую деву», делавшую наброски на палубе «Оронсея» и швырявшую детективы в море.

Фотографию и статью раскопал Рамадин, когда мы уже жили в Англии. Он приметил ее в старом выпуске «Иллюстрейтед Лондон ньюз». Мы копались в бумажных завалах Кройдонской публичной библиотеки и вряд ли опознали бы мисс Ласкети, не окажись в подзаголовке ее имени. К тому моменту, к середине пятидесятых, ее спутник, Юлиус Гружа, успел сделаться прославленным олимпийским чемпионом, а также влиятельным человеком на Уайтхолле, где, судя по всему, у мисс Ласкети тоже были определенные связи. Когда бы мы с Рамадином знали тогда, как связаться с Кассием, мы сделали бы фотокопию этого «доолимпийского» снимка и послали бы ему.

В наших глазах она не была красивой женщиной. Нас больше привлекали разнообразные грани ее личности, которые мы открывали одну за другой. Ее изначальная настороженность была лишь следствием природной застенчивости. А потом — будто ты набрел на клетку с лисятами

на какой-нибудь сельской ярмарке. И хотя фамилия Ласкети вроде бы говорила о европейском происхождении, ее владелица вполне уютно уживалась рядом с британской «садовой» аристократией.

Она, безусловно, была знакома со всевозможными гранями английской жизни. Например, нас просто ошарашили сведения, которыми она поделилась, когда речь за «кошкиным столом» зашла про туристические походы: среди ее знакомых, мол, есть такие туристы (в том числе ее троюродный брат), которые, отправляясь на все выходные в поход, надевают только носки да ботинки и вешают на плечи солдатский ранец. В таком виде идут по лесам, через поля, переходят вброд лососевые ручьи. Встретишь их в дороге — не заметят, будто бы ты невидимка, при этом они убеждены, что ты их не видишь тоже. Подойдя под вечер к деревне, они одеваются у околицы, заходят в трактир, ужинают в одиночестве и отправляются к себе в комнату спать.

Выслушав мисс Ласкети, за столом с легкостью вообразили себе картину и примолкли. Большинство пассажиров составляли начитанные азиаты, которым непросто было совместить свои представления об английской жизни, почерпнутые

из Джейн Остен и Агаты Кристи, с этими голыми туристами. Причудливый и не совсем уместный анекдот стал первой черточкой, изменившей в наших глазах образ мисс Ласкети, который поначалу напоминал выцветшие обои. После рассказа о туристах за столом повисло молчание; нарушил его мистер Мазаппа, вернувшись к непроницаемым лицам мадонн, о которых уже говорил раньше.

— С этими мадоннами вот какая беда, — заявил он. — Младенца-то надо кормить, а мамочки выставляют напоказ груди что твой надутый мяч или пустотелый пончик. Чего же тут удивляться, что у всех младенцев вид как у сердитых взрослых. Я видел только одну картину, где по младенцу сразу видно, что он прекрасно выкормлен и сосредоточен на сосании молока. Было это под Сеговией, в Гранье, в летнем дворце, и речь идет о крошечной шпалере, и там мадонна вовсе не смотрит в будущее. Она просто следит, с каким удовольствием младенчик Христос сосет ее грудь.

— Вас послушать — вы специалист по грудному вскармливанию, — заметил кто-то за столом. — У вас есть дети?

Едва уловимая пауза, потом мистер Мазаппа

ответил:

— Разумеется.

— Рада, что вы любите шпалеры, мистер Мазаппа, — вклинилась мисс Ласкети, прервав новое молчание, повисшее после этой реплики; мистер Мазаппа ничего не добавил — ни сколько у него детей, ни как их зовут. — Интересно, а кто выткал ту шпалеру? Может, речь идет о стиле мудехар,[15] тогда это могла быть женщина. Но только если шпалера относится к пятнадцатому веку. Как приеду в Лондон, разберусь. Я некоторое время работала у джентльмена, который коллекционировал такие вещи. Вкус у него был отличный, при этом он был крепким орешком. Однако он научил меня ценить ткани. Удивительно узнавать такие вещи от мужчины.

Мы припрятали по карманам эти откровения. Кто этот джентльмен, «крепкий орешек»? И что это за троюродный брат-турист? Похоже, наша старая дева разбирается не только в голубях и набросках.

* * *

Уже в нынешней жизни, несколько месяцев тому назад, я получил посылку, отправленную из

---

[15] Примечания: 15

Мудехарами назывались оставшиеся в Испании после Реконкисты мусульмане; они славились как искусные ремесленники.

Уитленда в Кармартеншире, — ее мне переслал мой английский издатель. Там лежало несколько цветных ксерокопий с рисунков и письмо от Перинетты Ласкети. Написано оно было после моего выступления по Би-би-си на тему «Молодость» — в этой программе я между делом упомянул свое плаванье в Англию.

Прежде всего я рассмотрел рисунки. Увидел себя, маленького и тощего, Кассия с сигаретой, очень красивый портрет Эмили, в синем берете с пером. Эмили, которая исчезла из моей жизни. Мало-помалу я стал опознавать и другие лица — казначея, мистера Невила, — уголки судна, погребенные в глубинах прошлого: киноэкран на корме, рояль в бальной зале, за которым сидит смазанная фигура, матросов во время учебной пожарной тревоги, то одно, то другое. Все рисунки запечатлели наше плаванье в 1954 году из Коломбо в Тилбери.

Уитленд

Графство Кармартеншир

Дорогой Майкл!

Простите за бесцеремонность, но ведь много лет назад я знала Вас маленьким мальчиком.

Услышала Вас на днях по радио. В какой-то момент Вы упомянули, что приплыли в Англию

на «Оронсее», и я сразу начала прислушиваться, потому что тоже плыла в 1954 году на этом судне. Слушала передачу, но никак не могла сообразить, кто же Вы такой. Голос по радио и Ваша профессия никак не связывались у меня ни с кем из пассажиров, пока Вы не упомянули свое прозвище Майна. Тут я и припомнила всех вас троих, особенно Кассия, мальчишку, который постоянно за всем наблюдал. Еще я вспомнила Эмили.

В один из дней я пригласила вас с Эмили к себе в каюту на чай. Наверное, Вы этого не помните. Да и с чего бы. Все вы очень меня занимали. Видимо, моя работа на Уайтхолле развила во мне любопытство. Ведь во время плавания почти ничего не происходило, разве что вы, мальчишки, постоянно попадали в какие-то переделки… Но позвольте перейти к тому, почему я вообще решила вам написать — помимо желания передать Вам восторженный привет.

Я уже некоторое время очень хотела связаться с Эмили. Я часто про нее думаю. Дело в том, что во время плаванья я хотела сказать ей одну вещь, но так и не сказала. В тот день я думала об одном — как бы вырвать Вас из когтей барона. А на самом деле спасать-то нужно было Эмили. Я не раз видела ее в обществе этого типа из труппы

«Джанкла», и их отношения показались мне опасными, чреватыми бедой. И я пообещала себе, что отдам ей одну вещь, которая может оказаться ей полезна, может выручить ее, но я и этого не сделала. И очень жалею. Это была, скажем так, будущая правда, хотя на деле — история давних времен, из моей юности. В этот конверт я вложила эту самую историю, которую нужно переслать вашей кузине. Я почти не была знакома с Эмили, но на меня она произвела впечатление человека, который, несмотря на его великодушие, нуждается в защите.

Я буду крайне признательна, если Вы перешлете ей вложенный сюда пакет.

Я сняла копии с некоторых зарисовок, которые сделала во время путешествия, надеюсь, они доставят Вам удовольствие.

С приязнью, *Перинетта.*

Письмо было на две страницы, а пакет, который я должен был отправить Эмили, помеченный ее именем, плотно набит бумагой и слегка пожелтел.

Я вскрыл его. Писатели не ведают стыда. Но вы поймите, я много лет не видел Эмили и не имел понятия, где ее искать. В последний раз мы разговаривали на ее свадьбе с неким Десмондом, а

потом они сразу же уехали за границу. Я даже не смог припомнить, в какую страну. Словом, после недолгих колебаний я вскрыл предназначенный Эмили пакет и начал одну за другой читать страницы, исписанные мелким наклонным почерком, словно бы особо подчеркивающим тайный, личный характер послания. И, читая, я понял, что речь идет о случае из жизни мисс Ласкети, о котором она упомянула в тот день, когда я зашел в ее каюту и обнаружил там Эмили. Ведь я помню — Эмили тогда спросила мисс Ласкети, на что та намекает, что за эпизод «изменил» ее. А мисс Ласкети ответила: «Я тебе в другой раз расскажу».

В двадцать с небольшим я поехала в Италию учить язык. Языки я впитывала как губка, а итальянский любила больше других. Мне посоветовали поискать работу на вилле «Ортензия». Ее купила состоятельная американская пара, Хорас и Роз Джонсон, — и они превращали ее в хранилище произведений искусства. Я прошла два собеседования, и меня взяли на должность переводчицы — переписка, научная работа, каталогизация. Каждый день я ездила на велосипеде на работу, по шесть часов проводила на вилле, потом на велосипеде же ехала домой, в комна-

тушку в городе.

У владельцев виллы был семилетний сын. Милый мальчик и очень забавный. Любил смотреть, как я подъезжаю на велосипеде, запыхавшись, — я почти всегда опаздывала. Он стоял у каменных ворот в конце длинной подъездной аллеи, обсаженной кипарисами. Каждый день, в девять утра или чуть позже, я проезжала двести метров по этой аллее, а он махал руками, а потом делал вид, что смотрит на часы на своем детском запястье — фиксирует опоздание. В один прекрасный день я заметила, что не он единственный наблюдает, как я подъезжаю, — на шее длинный зеленый шарф, через плечо полотняная сумка. Мальчик не видел у себя за спиной, в здании, этажом выше, фигуру в окне — когда я подъехала к воротам, фигура исчезла. Я не смогла разобрать, кто это. На следующий день я увидела ее снова — отчетливо очерченный призрак — и помахала рукой. После этого фигура больше не появлялась.

Работа в фонде была трудной и напряженной. На виллу в огромных количествах везли картины, шпалеры, скульптуры. А еще было много работы по разбивке сада — миссис Джонсон пыталась вернуть ему изначальный вид времен Медичи. Так что по залам и террасам постоянно

сновали люди, не смолкали препирательства между садовниками, выписанными из поместий со всей Европы, а мы, переводчики, бегали с места на место, помогая им выразить свое мнение или недовольство.

Хорас и Роз Джонсон являлись нам время от времени, точно боги. Внезапно входили в рабочие кабинеты, а потом вдруг пропадали в Неаполе или даже на Дальнем Востоке. Их появление на наших рабочих местах принципиально отличалось от появлений Клайва, их сына. Входил он — будто в комнату случайно закатывалась маленькая ракушка, и мы по большей части не сразу обнаруживали его присутствие. Однажды я спустилась в Большую ротонду и увидела, что он сидит на корточках и вычесывает собаку, скрытую листвой, — нижний фрагмент висящей на стене шпалеры. Шпалера называлась «Вердюра с собакой». Фландрия, шестнадцатый век. Я ее очень любила. Она придавала теплоту и человечность огромному круглому залу. Как бы то ни было, мальчик раздобыл где-то собачью щетку и очень бережно расчесывал собаке шерсть. А вещь была очень хрупкая, классический образец провинциальной фламандской работы.

— Осторожно, Клайв, — попросила я. — Это

ценная вещь.

— Я осторожно, — ответил он.

Стояло лето, а своей собаки у мальчика на вилле не было, хотя места вокруг — хоть отбавляй. Родители уехали — один из них пытался добраться до Хартума, зачем — неведомо, за каким именно произведением искусства — тоже. Наверное, семилетнему мальчишке отлучки отца кажутся бесконечными, и я подумала: а как он воспринимает свое здешнее окружение? Когда ребенок смотрит на пейзаж или на картину, он видит совсем не то, что видит его отец. Этот мальчик увидел собаку, которой у него не было. Всего-то.

Почти у всех шпалер на вилле было символическое значение: те, что на библейские сюжеты, говорили языком икон и притч. Светские (к каковым относилась и «Вердюра с собакой») являли образы рая на земле или повествовали об опасностях и блаженных чарах любви — те, как правило, изображались через сцены охоты. Собака на той шпалере предназначалась для охоты на кабана. Другие картины изображали ястреба, схватившего голубку в безоблачном голубом небе, — пример «покорения» силой любви. То есть любовь как убийство, уничтожение слабого. Но стоило посмотреть на эти работы в Большой

ротонде или в огромных, но стылых комнатах, ты сразу понимал их истинное предназначение — превратить голые каменные стены в цветущий сад. Эти шпалеры ткали в стылых мансардах далекой северной страны — там никогда не видели изображенных на них кабанов, голубок и буйной зелени. И в этом новом контексте шпалеры становились особенно прекрасными. В них появлялось благородство. Цвета их были скромными, приглушенными, и живая флорентийская красавица, проходившая в нескольких шагах перед ними, обретала на их фоне особую прелесть. А еще были политические сюжеты, связанные с богатством и положением. На них красовался герб Медичи — пять красных шаров, планет Солнечной системы, и еще один, синий, добавившийся, когда Медичи породнились с французской короной.

— Среди этих произведений чувствуешь себя в безопасности, верно?

Мы с Хорасом находились в зале Капоне, в окружении фресок; я вдруг поняла, что он обращается непосредственно ко мне. А я проработала у него уже больше месяца, но он ни разу не обратил на меня внимания. Рука его вытянулась, будто он хотел выхватить нарисованную птицу с голубого небесного свода.

— Искусство не бывает безопасным. Все это — лишь один чуланчик в большой жизни.

Я не ожидала такой пренебрежительности от человека, который якобы любит искусство.

— Пойдемте со мной.

Он бережно, точно взял меня за локоть — вроде как общественная мораль не воспрещает трогать эту часть тела и, соответственно, присваивать до определенной степени. Он повел меня по вестибюлю, и скоро мы оказались в Большой ротонде, где висела двадцатиметровая шпалера. Он приподнял край и отогнул, чтобы я могла разглядеть изнанку: там цвета оказались неожиданно яркими и мощными.

— Вот где настоящая сила. Всегда. С изнанки.

Он отошел от шпалеры и встал в центре круглого зала, зная, что голос его разнесется по периметру и поднимется к высокому куполу.

— Сотня женщин, а может, и больше, трудились над этой шпалерой целый год. Они боролись за право получить эту работу. Шпалера давала им пропитание. Она не позволила им умереть фламандской зимой тысяча пятьсот тридцатого года. Вот откуда глубина и правдивость этой сентиментальной картинки.

Он молча дождался, пока я подойду к нему.

— Так скажите мне, Перинетта, — вас ведь зовут Перинетта? — кто автор этой работы? Сотня женщин с замерзшими растрескавшимися руками? Мужчина, придумавший эту сценку? Настоящий автор — дата и место.

В те времена определить автора можно было только по месту рождения или по месту, где он закончил свою карьеру. Половина великого европейского искусства создавалась в городах. Взгляните сюда — увидите клеймо города Уденарда. Но разумеется, нужно еще учитывать, который из Медичи приобрел ее, потратив годовой бюджет небольшого государства, привез ее в Италию — за тысячу миль, под защитой стражников и шпионов…

Под такие его речи я готова *была* скользнуть в его подставленный карман. Когда он заговорил со мной впервые, я была очень молода. Дело в том, что мужчины, наделенные такой властью — опирающейся на богатство и знания, — считают вселенную своей собственностью. Из этой уверенности и проистекает их красноречие. Однако такие люди склонны запирать перед вами двери. В их вселенной всегда существуют шифры, комнаты, вход в которые заказан. В их повседневной жизни всегда где-то стоит чаша с кровью. Он

это прекрасно знал. Хорас Джонсон понимал, на какого зверя охотится. С таким знанием всегда приходит жестокость. Я тогда не имела об этом понятия. Уж всяко — в тот полдень, когда он привел меня, придерживая за локоть, в ротонду и той же рукой приподнял край шпалеры, будто задрал юбку служанки, — и открыл мне изнаночное многоцветье.

Я продолжала жить в этом мире трех времен года и вскоре обнаружила, что мне уже не уследить, куда ведут дорожки, которые я сама для себя выбрала. Я не знала, какие ловушки и рвы существуют в мире богатых. Не знала, что люди вроде Хораса даже к тем, кого любят и кого хотят видеть рядом с собой, относятся так же, как вынуждены относиться к врагам: отводя им место, с которого те не смогут нанести ответный удар.

Если прийти в Сиене на угол виа дель Моро и виа Саллюстио-Бандини и взглянуть вверх, вам предстанут строки Данте из «Чистилища»:

> *И он в ответ: «То Провенцан Сальвани;*
> *И здесь он потому, что захотел*
> *Держать один всю Сьену в крепкой длани.*

А там, где виа Валлероцци пересекает виа Мон-

танини, в желтом камне высечено:

Не мудрая, хотя меня и звали
Сапия, меньше радовалась я
Своим удачам, чем чужой печали.

Понимаете ли, там, где сосредоточена власть, победу одерживает не тот, кто берет верх над соперником, а тот, кто способен не позволить врагу — или врагине — достичь желаемого.

Однажды в Рождество устроили бал-маскарад для сотрудников, и я вдруг обнаружила, что Хорас описывает вокруг меня круги по полупустому патио. Я оделась Марселем Прустом — спрятала светлые волосы, наклеила тонкие усики, набросила накидку на плечи. Может, это его привлекло? Позволило скрыть его подлинные намерения?

Он спросил, не принести ли мне чего-нибудь.

— Ничего, — ответила я.

— А как вы отнесетесь к танцу по главным городам Европы?

Я рассмеялась.

— У меня есть комнатушка, обшитая пробковым деревом, — ответила я. — С меня довольно.

— Понятно. Тогда позвольте нарисовать ваш портрет. Вот в таком виде. Вас когда-нибудь рисовали?

Я ответила, что нет.

— Можете еще надеть этот ваш зеленый шарф.

Вот так это все и началось — я вошла в его сознание, одетая мужчиной. Знаете, полагаю, в одном из подвалов этой виллы до сих пор лежит мой портрет. На этом портрете, так, надо думать, и незавершенном, я полностью одета — после акта любви. Хотя вид у меня смиренный, будто у нескладной наследницы-провинциалки или невинной дочери какого-нибудь друга.

Разумеется, это он был той фигурой в окне верхнего этажа, которая наблюдала, как я каждое утро еду на велосипеде на работу. Он не спеша вычислил меня. И теперь двигался в том же неспешном темпе. Работу над эскизами прерывал бесконечными разговорами: он был кладезем знаний о тинктурах, хореографии фресок, величии алебастра. А я, дабы помедлить у порога этих отношений, первые несколько дней не снимала прустовские усики, так что, здороваясь со мной в студии, он обнимал и целовал меня через них. Я несколько дней проносила их в его обществе, забыв про них за разговорами, за рассказами историй из моей юности. Все эти сведения, как во сне, я вылила в чашу его ненасытной любознательности.

Он был столь же мудр, сколь и умен. Он заручился моей дружбой. Он был старше, а в зрелом возрасте повадка иная, так сказать более галантная — хотя бы с виду. А молодого любовника, дабы провести сравнения, у меня до того не было, — собственно, и вообще не было никакого любовника. Все произошло будто само собой и стало скорее продолжением разговора, чем физиологическим откровением. Он снял с моей шеи зеленый шарф, когда я вошла в студию, а потом, в немыслимо жаркий августовский полдень, предложил зайти дальше. Крошечный шажок. Возможно, подействовали магия его слов и мое образование. Я научилась прилаживать к нему свою обнаженную спину, я шагнула за пределы того, что поначалу казалось одной лишь болью, и постепенно даже это стало привычной частью нашего влечения.

Я, разумеется, знала, что все это в рамках традиции. Но тогда я будто бы шагнула в удивительною страну — бредовую, ошеломительную, полную вкусов, которые нужно было распознать и прочувствовать. А потом я бродила по прекрасно обставленной студии, моя кожа, моя «тинктура» остро осязала ветерок, проникавший сквозь открытые жалюзи. В одних носках я бродила

кругами и тенью руки прикасалась к ранним, целомудренным наброскам, которые он сделал поначалу. Часто мне начинало казаться, что в комнате я одна, как будто он не смотрел на меня, не насыщался моим присутствием, — и тогда нечто в комнате раскрывалось, будто бы впервые. Я барахталась в этом настое знания и влечения. Тяжесть его руки, тяжесть всего его тела, мой голос на фоне голоса моего любовника — довольно лишь чуть-чуть подсветить плечо на картине, чтобы обозначить горе или тайну, как близко к краю стола поставил Караваджо эту чашу, чтобы создать напряжение — вот — вот упадет.

Уже миновал полдень, а я все читал письмо Перинетты Ласкети, ловя отблески иных времен, подробности прошлого, что все еще теплились в ее памяти. Столь интимное и надрывное письмо, совсем не тот голос, которого я ждал: казалось, она обращается к воображаемому читателю.

Там-то и возмужал мой дух, в чердачной студии над виа Паникале, где на всем протяжении нашего преступного часа вызванивали колокола — будто отзывая тех, кто ушел в атаку. Он смотрел, как я склоняюсь над ним. Смотрел через мое голое плечо, когда я листала тяжелые альбомы по искусству. Подняв глаза, я видела отражение

нашей общей картины в зеркале и вспоминала похожий момент: его сын читает на большом диване в зале Капоне и Хорас — в ипостаси отца — стоит у мальчика за спиной и смотрит на него. Мы были очень похожи, мальчик и я: один и тот же отец распоряжался обоими.

Знаешь, почему в тот день на «Оронсее» я пригласила тебя к себе в каюту вместе с твоим кузеном? Я наблюдала за тобой во время плавания, и мне стало страшно: тебя, похоже, тоже втянули в нехорошее дело. А я-то знала, как просто это случается и куда ведет. Но уверенности у меня не было. Так что я заговорила не с тобой, а с твоим кузеном, предупредила его насчет барона. Что я не до конца понимала — или знала — в тот день, так это что из вас двоих в настоящей опасности как раз ты. Я кинулась защищать не того ребенка. Как я могла этого не увидеть?

На тот флорентийский период я теперь смотрю сквозь кривую призму, которая замутнила удовольствие налетом иронии. Проделав с ним в постели все его разнообразные трюки, я садилась наблюдать за ним. Пологий луч солнца, падавший по восточной стене на его тело, обильная растительность, какой я еще не видела у мужчин, будто у сатира, — можно подумать, я совокупля-

лась с существом иного вида, с лесным жителем. Зеленый шарф на моих английских плечах, я бродила в запахах краски, в каштановых запахах плотской любви. Я думала, что меня любят, потому что меня изменяли.

Время от времени он приносил в студию какое-то произведение — японскую гравюру или набросок великого мастера, который только что приобрел за огромные деньги. Он брал мой указательный палец, лишь за полчаса до того доставлявший ему сокровенные радости, и водил им по контуру чаши, или моста, или кошачьей спины — я до сих пор отчетливо помню набросок женских колен и рук, которыми она удерживает вырывающуюся кошку. Водя моим пальцем, он прослеживал линии и будто бы создавал их. Воображаемая кисть, соперничающая с бессмертием.

Он спрашивал, чем я занимаюсь в нерабочие часы, заставлял описывать мою комнатку — сам он там не бывал. Его интересовало, куда еще я хожу, что еще мне интересно. В школе за мной вроде как ухаживали… право же, у меня почти не осталось запаса историй из своей жизни. И вот однажды я припомнила тот эпизод с маленьким Клайвом и шпалерой. Рассказала, как спустилась по винтовой лестнице в Большую ротонду и уви-

дела, как он вычесывает шерсть собаки, скрытой зеленью.

Хорас слушал вполуха. И поначалу, видимо, решил, что я говорю о реальности, а потом замер и переспросил:

— Какой собаки?

У нас было правило, установленное им: никакого узнавания и общения за пределами студии, вне наших общих тамошних часов. Если кидаешь такие камешки, они должны падать в воду беззвучно, не оставляя ни единого круга. Собственно, в рабочие часы я почти никогда его не видела. В перерыве пила чай с другими сотрудниками, обедать уходила на вторую террасу сада, где надо мной нависала статуя сердитого Колосса. Я любила уединиться и, если получится, почитать в этот свободный час. И вот однажды, в четверг, я сидела там в полудреме, и вдруг до меня донеслось прерывистое дыхание: совсем рядом кто-то пытался разрыдаться или даже завыть, но дело не шло дальше этих сбитых, нескончаемых вздохов. Я встала, пошла на звук и отыскала мальчика. Отец, видимо, наказал его. Когда он меня увидел, кровь бросилась ему в лицо и он метнулся прочь, будто я невесть что с ним сделала. Да так оно и было. Виной всему была моя забавная история

про собаку со шпалеры, походя рассказанная перед соитием.

На следующий день я стала упрекать Хораса за предательство, выла в голос — как не сумел завыть его сын. Мое дыхание не сбилось. Я заранее скопила свой гнев и пришла ранить его побольнее, в отместку за то, что он сделал с ребенком. Я увидела его истинное лицо: тирана, скрывающегося за завесой власти и авторитета. Я знала: он всю жизнь будет вот так вот проходить сквозь людей и никогда ничему не научится. Когда стало ясно, что слова мои его даже не задевают, я замахнулась и попробовала его ударить, но он перехватил мой кулак и направил обратно на меня. Я держала ножницы, и они вошли мне в бок с силой и ненавистью, которые предназначались ему. Ничто не мешало ему потом сказать, что он просто пытался укротить ярость или даже безумие. Я согнулась пополам, голова и волосы свесились почти до пяток, ножницы все торчали в боку. Я молчала. Не шевелилась, а главное — заставляла себя не плакать. Я чувствовала то же, что и мальчик. Хорас попытался меня распрямить, я вцепилась себе в ноги. Пока я стою, согнувшись, в темной одежде, я для него не такая большая цель. Полагаю, случившееся

его даже возбудило, и, если бы я отреагировала иначе — беспомощно разрыдалась, прижалась к нему, он попытался бы снова увлечь меня в постель, в последний раз, скрепив этой печатью наш разрыв с прошлым. Тогда бы он понял, что все закончилось бесповоротно. Ибо он ни за что не стал бы снова ставить себя в положение зависимости от меня, от человека, имеющего о нем столь определенное мнение.

— Давай перевяжу.

Я представила, как он расстегивает мою блузку и смотрит, как кровь толчками выливается из тонкой раны на белом животе. Я медленно разогнулась и вышла из студии. Постояла в полутемной прихожей. С меня лил пот. Посмотрела вниз, вытянула лезвие, и в ту же секунду свет, регулируемый таймером, погас, и я осталась совсем одна в темноте. Я постояла там еще минутку, чего-то ждала, но он так и не появился.

На вилле «Ортензия» уже несколько недель готовились к празднику равноденствия. Пригласили гостей из соседних городов, а еще — художников, критиков, родню, почетных горожан и нас, садовников и работников архива. Они с женой каждый год делали этот жест к общественности. Им отмечался конец сезона. А на последующие

самые жаркие месяцы семья возвращалась в Америку или отправлялась в путешествие, блуждать по российским провинциям. Июльскую жару выносить было тяжело, даже в высоких каменных залах виллы, даже в тени парка.

До празднования оставалось два дня, и я гадала, лежа в постели, попаду я туда или нет. Как больнее ранить и его, и себя — пойти или не пойти? Я «обиходила» рану — такое деликатное выражение — над раковиной с холодной водой. Проделано это было неловко и не от большого ума — шрам у меня остался навеки. Каждый любовник, познавший меня впоследствии, запинался о него, а потом делал вид, что это красиво или не важно. А потом неизменно демонстрировал мне собственные — не годившиеся моему и в подметки.

Я вышла из этой его темной прихожей на виа Паникале и отправилась искать аптекаря. Помню, отыскала и сказала, что нужно обработать «глубокий порез».

— Насколько глубокий? — спросил аптекарь.

— Глубокий, — ответила я. — Нанесен случайно.

Он дал мне чего-то на основе серы, а еще бинтов, тампонов, жидкого антисептика — типа тех,

кажется, которые использовали в Крымскую войну, немногим лучше. Я не сказала, что речь идет обо мне, хотя, наверное, была бледна и, возможно, пошатывалась. Все как-то расплывалось. Единственное, что сохранило определенность, — мой уверенный итальянский язык, на нем я и сосредоточилась. А аптекарь болтал и болтал — видимо, хотел убедиться, что со мной все в порядке. В какой-то момент я опустила глаза и увидела, что юбка пропиталась кровью.

Путь домой оказался долгим. Большую часть вечера и всю ночь я провела в постели. Лекарствами не воспользовалась. Они просто упали на пол. Лежала в постели, чтобы как следует поразмыслить в темноте. О том, что только что пережила. Есть ли у меня будущее. *Его* в моих рассуждениях не было. Полагаю, именно тогда я и стала собой.

На следующий день я едва могла двигаться. И все же заставила себя встать и подошла к раковине, рядом с которой висело длинное узкое зеркало. Я оторвала блузку и юбку, присохшие к телу, и наконец обнажила рану. Смазала мазью, которую мне дал аптекарь, потом снова легла, оставив кожу открытой воздуху. Мне снились разные сны. Я громко спорила сама с собой. Вста-

ла и посмотрела в зеркало в полуденном свете. Кровотечение остановилось. Все заживет. Я не умру по собственному почину. И через день я пойду на праздник равноденствия. Не пойду. Пойду.

Явилась я с опозданием, намеренно пропустив официальные речи. Шла медленно — при каждом шаге бок пронизывала боль. Но я вслушивалась, правила на звук камерного оркестра. Он расположился на маленькой сцене «театрино», маленького театра за второй террасой. Мне всегда нравилось это место — исполнители и зрители оказывались здесь бок о бок. Пианист и виолончелистка сидели прямо перед гостями, среди освещенных деревьев. И на третьем такте, когда голоса инструментов слились, музыка поплыла по саду, будто специально заказанный ветер, унося нас на своих крыльях, и меня вдруг обуяла радость. Я почувствовала себя «укутанной», будто на меня опустился плащ из звуков.

Я огляделась — кругом родственники, сотрудники, знаменитости, принимавшие этот дар, а потом увидела Хораса: он внимал музыке. Казалось, он вглядывается в нее. Другого для него не существовало. Я поняла: он весь сосредоточился на виолончелистке, женщине, полностью подчиненной технике и духу ее искусства, и

ничто не в силах заставить его отвести от нее взгляд. Поначалу я было подумала, что она станет очередной добычей его похоти. Но должна признать, дело было не только в этом. В тот момент он желал не только ее. Хорас вполне мог так же вожделеть пианиста, пальцы которого бегали в такт голосу виолончели, отрывали ее от земли вопреки закону тяготения, силой не то механики, не то гипноза. Их искусство слагалось из общего мастерства, состоящего из завитков и винтиков, канифоли и клавиш и заученного ритма. Именно они духовно укореняли невзрачную виолончелистку в черном в этой земле. И мне было отрадно думать, что она находится там, куда Хорасу ходу нет, несмотря на все его богатство и власть. Он может соблазнить ее, нанять, развлечь своими каламбурами. Может забрать ее себе, плавать вокруг белым лебедем, но туда, где она сейчас, ему не попасть никогда.

Под последней страницей, написанной много лет назад, мисс Ласкети приписала:

Где ты теперь, милая Эмили? Пришлешь мне свой адрес, напишешь в ответ? Это послание я хотела отдать тебе еще на «Оронсее». Почему? Как я уже сказала, я узнала, что ты, как и я в юные годы, подпала под чары одного человека.

Я думала, что смогу тебя спасти. Я увидела тебя рядом с Сунилом из труппы «Джанкла», и мне это показалось чреватым бедой, ты попала в очень опасное положение.

Но я не отдала тебе письмо. Испугалась… не знаю. Все эти годы я гадала, что с тобой сталось. Смогла ли ты высвободиться. Я же знала, что на некоторое время погрузилась во тьму, ненавидела себя, пока не вырвалась из этого круга. «Переживи отчаяние в юности и никогда не оглядывайся назад», — сказал один ирландец. Я так и поступила.

Напиши мне

Перинетта

Через два года после получения письма мисс Ласкети я приехал на несколько дней в Британскую Колумбию, и в моем гостиничном номере раздался звонок. Было около часа ночи.

— Майкл? Это Эмили.

После долгой паузы я спросил, где она. Думал, в каком-то далеком часовом поясе, в некоем европейском городе, где уже наступило утро. Оказалось — она всего в нескольких милях от меня, на одном из островов в заливе: на ее часах тоже была глубокая ночь. Она сказала, что обзвонила несколько гостиниц.

— Ты не сумеешь вырваться? Я прочитала эту заметку про тебя в «Джорджия стрейт». Мы можем повидаться?

— Когда?

— Завтра?

Я согласился, записал, как добраться, и, когда она повесила трубку, остался лежать на восемнадцатом этаже отеля «Ванкувер» — сон как рукой сняло. «Поезжай паромом из Хорсшу-Бэй до острова Боуэн. Паром в половине третьего. Там я тебя встречу».

Я так и поступил. Мы не виделись пятнадцать лет.

Подслушанное

На второй день плаванья по Средиземному морю случилось сразу очень многое. Днем «Джанкла» давала представление, и, выйдя на бис, они вызвали желающих на подмостки, и те участвовали в номерах. Одной из желающих оказалась Эмили. Вскоре она уже кружилась в горизонтальной плоскости — того и гляди, сорвется с рук Сунила.

Пассажиров, вышедших на сцену вместе с Эмили, пригласили составить верхний уровень живой пирамиды. Как только они вознеслись вверх, пирамида медленно зашагала по палубе, будто некое существо со множеством рукавов. Оказавшись у ограждения, акробаты, стоявшие в основании пирамиды, стали раскачиваться, чем перепугали своих добровольных помощников — те принялись кричать не то от страха, не то от некой неожиданно открывшейся им внутренней радости. Постройка из человеческих тел — некоторые все еще вскрикивали — медленно развернулась и снова двинулась в нашу сторону. Одна Эмили была спокойна, горда собой, и,

когда пирамиду разобрали, именно ей выдали небольшой приз. Под звуки фанфар ее снова подняли на плечи одного из акробатов. Обитатели «кошкиного стола», в том числе мистер Дэниелс, мистер Гунесекера и все мы трое, громко зааплодировали. Сунил, небрежно стоявший на плечах у другого актера, подошел и застегнул у нее на запястье серебряный браслетик. Был неловкий момент, когда у нее чуть не подогнулись колени, — судя по всему, серебряная застежка прихватила или поранила ей кожу. Сунил поддержал ее одной рукой, а ладонь другой поднес ей ко лбу, успокаивая. Потом Эмили опустили на палубу, Сунил смазал царапину на ее запястье каким-то снадобьем, а потом она храбро подняла руку, чтобы все видели браслет — или что там блестело у нее на запястье. Представление труппы «Джанкла» состоялось ближе к вечеру, и, когда оно завершилось, пассажиры по большей части вернулись в каюты, отдохнуть или переодеться к ужину.

Вечер, несколько часов спустя. Мы с Кассием встретились в той же шлюпке, где сидели две ночи назад, — тогда удалось выяснить, что сегодня у Эмили здесь назначена встреча. Мы сидели в жаркой темноте и ловили обрывки разговора

между Эмили и тем, с кем она встречалась. Представился он Люцием Перерой. Таинственный Перера, Перера из уголовного розыска! Пришел поговорить с моей кузиной и раскрыл ей свою тайну.

— Я не знала, что вы — это вы, — проговорила Эмили.

Я мысленно перебирал все голоса, которые слышал или подслушал за время путешествия, но этот голос мне точно был незнаком. Поначалу они болтали о пустяках, потом Эмили спросила, как там узник. Перера в ответ передразнил ее озабоченный тон. А потом спросил, знает ли она хотя бы, в чем именно виновен узник?

Было слышно, как Эмили ушла.

Мистер Перера остался. Ходил взад-вперед прямо под нами. Мы оказались над головой у одного из старших офицеров полиции Коломбо — так близко, что услышали, как чиркнула и вспыхнула спичка, когда он закурил.

А потом Эмили вернулась.

— Простите, — сказала она.

И ничего больше. Разговор возобновился.

Судя по голосу, Эмили была усталой, сонной, хотя ей и любопытно было узнать про Нимейера. А когда Перера начал проявлять нетерпение, она

просто ушла. Не захотела продолжать разговор. Я часто подмечал в ней это — Эмили никому не позволяла пересекать определенные барьеры. Несмотря на авантюризм и хорошее воспитание, она могла замкнуться и резко повернуться спиной. Но в тот вечер она почему-то вернулась и продолжила разговор с Перерой. Из вежливости? Ее дружелюбие казалось мне притворным. Я вспомнил слова, которые услышал несколько дней назад от Сунила: «Он к тебе бегом побежит». А потом Перера будто бы откликнулся на мои мысли, — видимо, он сделал некое движение, может дотронулся до нее, потому что она сказала:

— Нет. Нет, — и тихо вскрикнула.

— Это тот браслетик, который ты выиграла? — пробормотал он. — Покажи-ка руку… — Голос был строг, можно было подумать, он проверяет какие-то одному ему известные данные. — Давай руку.

Мы будто бы слушали радио в темноте.

— Так это… — начал было он.

Потом звуки борьбы. Там что-то происходило. Разговор прервался. Громкий выдох прямо в деревянную обшивку нашей шлюпки, потом падение тела. Шепот, женским голосом.

Мы с Кассием замерли. Не знаю, сколько мы

так просидели. Очень долго. Пока шепот не стих и не наступила тишина. Потом мы вылезли из шлюпки и увидели распростертое тело, мужские руки словно пытались зажать окровавленный разрез на горле. Видимо, то был мистер Перера. Мы медленно двинулись к нему, но тут тело вдруг дернулось. Мы застыли, потом бросились в темноту.

В каюте я сел на верхнюю койку и уставился на дверь, не зная, что делать дальше. Мы с Кассием не заговорили, не произнесли ни слова. Просто убежали. Если с кем я и мог бы поговорить, так с Эмили, но только не в этом случае. Видимо, у нее был нож, подумал я. Мысли выключились, я продолжал таращиться на дверь. Она открылась. Вошел Хейсти с Инвернио, Толроем и Бэбстоком; я откинулся на подушку и притворился спящим, а сам вслушивался в то, как они негромко переговаривались и делали ставки.

* * *

Мы с Кассием сидели на полу в каюте Рамадина. Было раннее утро, мы оба поняли, что должны обсудить увиденное с Рамадином: он самый рассудительный из нас, он всегда знает, как поступить. Мы пересказали ему подслушанный разговор, описали, как Эмили ушла и вернулась,

что сталось с мистером Перерой, как лежащий человек цеплялся за собственное горло. Наш друг сидел и молчал, ничего не предлагая. Он тоже был ошарашен. Мы долго молчали, как после той истории с песиком и мистером де Сильвой.

Потом Рамадин произнес:

— Тебе всяко нужно с ней поговорить.

А я уже успел повидаться с Эмили. Она едва доползла до двери, чтобы впустить меня, сразу же упала обратно в кресло и снова заснула, раскинув руки и ноги. Я наклонился и потряс ее. Она сказала — всю ночь ее терзали странные сны, наверное чем-то отравилась за ужином.

— Мы ели одно и то же, — напомнил я. — А я в порядке.

— Налей мне чего-нибудь. Воды…

Я принес воды, она, не отпив, опустила стакан на колени.

— Ты ходила к шлюпкам, помнишь?

— Когда? Майкл, дай поспать.

Я снова потряс ее:

— Помнишь, ты вчера вечером выходила на палубу…

— Я весь вечер просидела здесь, разве нет?

— …и встречалась там с одним человеком?

Она поерзала в кресле.

— Мне кажется, ты сделала одну вещь. Не помнишь? Не помнишь мистера Переру?

Она с трудом приподнялась и взглянула на меня:

— А разве известно, кто он такой?

Мы с Кассием сходили туда, где видели труп мистера Переры. Встали на колени, попытались отыскать следы крови, но на палубе не было ни пятнышка.

Я вернулся в свою каюту и просидел там весь день. Мы все трое разбрелись по разным углам. Мистер Хейсти держал в шкафчике запас фруктов — подкрепляться во время игры, — я съел их, чтобы не выходить к обеду за «кошкин стол».

Я так и не понял, правильно ли я истолковал то, что увидел. Поговорить мне было не с кем. Если завести разговор с мистером Дэниелсом или мисс Ласкети — я выдам Эмили и разглашу, что она натворила. Я подумал: ведь мой дядя — судья. Может, он выручит Эмили. Или мы выручим ее, если просто промолчим. Днем я один поднялся на третью палубу. Вернулся, достал свою карту, проверил, далеко ли нам еще плыть. Потом, кажется, уснул.

Разбудил меня колокол, звавший к ужину, и вскоре после этого раздался условный стук Рама-

дина, а потом он вошел. Поманил меня жестом, я вышел к нему с Кассием. Ужин в тот день подали на воздухе, на складных столах, мы устроились в уголке, где никто нас не слышал. Уходя с ужина, Кассий унес с собой какой-то стакан, налитый до краев. «Кажется, это коньяк», — сообщил он. Мы нашли тихий уголок на прогулочной палубе, пересидели там несколько зарядов дождя, поглощая содержимое стакана, будто яд.

Горизонт исчез, утонул в дымке, ничего было не видно. Потом дождь кончился. А значит, оставалась надежда, что ночную прогулку узника не отменят. Для нас троих его появление стало бы хоть частичным возвращением к заведенному порядку. Поэтому мы остались на палубе, постепенно погружавшейся во тьму.

Мимо время от времени проходили вахтенные, останавливались у леера, смотрели на неспокойное море, шли дальше. Через некоторое время привели узника.

Весь этот участок палубы освещали лишь один — два прожектора, так что нас никто не видел. Узник стоял между двумя стражами. Он был в наручниках, и стоило ему сделать шаг, как цепь, сковывавшая его ноги, начинала когтить палубу. Потом он замер и спокойно позволил им надеть

на шею более толстую палубную цепь. Они проделали это в темноте, на ощупь, привычными движениями. Потом до нас долетел его негромкий голос: «Снимите», и, вглядевшись повнимательнее, мы поняли, что он держит одного стража за шею, вывернув ее под очень странным углом. Узник присел на корточки, потянув за собой стража, и перекатился на бок, чтобы пленный страж мог снять с него металлический ошейник. Как только его отомкнули, узник стряхнул тот движением головы.

— Бросайте ключи мне под ноги.

Теперь он обращался ко второму стражу. Видимо, ему было известно, что у каждого стража есть свой комплект ключей. Опять зазвучал его негромкий голос, придававший властность этому бесправному человеку:

— Ключи, или я сломаю ему шею.

Второй страж не пошевелился, тогда Нимейер сильнее скрутил первого, тот умолк, возможно потерял сознание. Тут прозвучал стон. Но издал его не страж, а глухая девочка Асунта, выступившая из тени. По луне начали пробегать облака, свет ярче заливал палубу. Горизонт очистился. Если Нимейер рассчитывал совершить побег в темноте, ему не повезло.

Девочка шагнула вперед, склонилась над неподвижным стражем, взглянула на отца, покачала головой. Потом заговорила со вторым стражем своим неловким, неповоротливым голосом:

— Дайте ему ключи. Освободить ноги. Пожалуйста. Он его убьет.

Второй страж нагнулся к Нимейеру с ключом, девочка и узник не двигались, пока страж возился с замком. Потом Нимейер поднялся. Глаза его стремительно обшаривали дальние леера. Было понятно — до этого он осознавал только пространство вокруг себя, на длину цепи, теперь же у него появилась возможность побега. Ноги его были свободны. Только руки скованы перед грудью. Тут появился вахтенный, увидел, что происходит, и свистнул в свисток. Тут же поднялась суета, палубу наводнили матросы, другие вахтенные, пассажиры. Нимейер схватил девочку и бросился бежать, отыскивая хоть какую-то лазейку. Остановился он на корме, возле леера. Мы думали, он прыгнет за борт, но он обернулся и посмотрел на палубу. Близко к нему никто не подходил. Мы выползли из темноты. Прятаться было бессмысленно, тем более бессмысленно сидеть там, откуда ничего толком не видно.

На миг все застыли — вдали мерцали огни Неа-

поля или Марселя. Потом Нимейер шагнул вместе с девочкой вперед, и толпа тут же раздвинулась, образовался узкий проход, а вокруг не кричали, а скорее жалобно причитали: «Девочка! Отпусти девочку! Не трогай ее!» Но никто не решался преградить дорогу, зажать их в толпе — этого босого человека со скованными руками и его дочь. И за все это время она ни разу не крикнула. Ее лицо оставалось единственным безучастным пятном в море растущего гнева, лишь огромные глаза внимательно смотрели вокруг, а Нимейер все вышагивал по выстроенному для него туннелю. «Отпусти девочку!»

Потом кто-то выстрелил из пистолета и разом вспыхнули огни, повсюду — на палубе, на мостике, во всех иллюминаторах ресторана, и этот внезапный; сноп света потоком пролился с палубы в море. Мы теперь отчетливо видели девочкино посеревшее лицо. Кто-то крикнул странно увещевающим голосом: «Не давайте ему последний ключ!» А рядом со мной Рамадин произнес совсем тихо: «Дайте ему ключ».

Ибо вдруг стало ясно, что узник представляет опасность для девочки и для всех даже без всякого ключа. Ее лицо было бесстрастно, а лицо узника в ярком свете обрело странное выражение, кото-

рого мы не видели ни разу, пока наблюдали за ним все эти ночи. Всякий раз, как он делал шаг, узкий коридор раздавался, чтобы его пропустить. Он был заключен в этом ограниченном пространстве свободы, из которого не было выхода. Потом он остановился и огромными руками поднял девочкино лицо к своему. Потом снова пустился бежать, волоча ее за собой по человеческому туннелю. Потом прыгнул на ограждение, схватил девочку закованными руками и замер там, готовый метнуться с борта в темное море.

Луч прожектора медленно сосредоточился на двух фигурах.

Ветер же все крепчал, но нам пока было не до того. Я вцепился в Рамадина, а Кассий сдвинулся ближе к Нимейеру и Асунте — девочке, которую он всегда жалел и пытался оберегать. Передо мной, совсем неподалеку, стояла Эмили. Голос, запретивший давать узнику ключи, принадлежал Джигсу — он стоял у нас над головами на мостике, в омуте света. Выстрел он произвел в воздух, но теперь целился в узника и девочку. Они с капитаном выкрикивали команды, пока судно не содрогнулось и не сбавило ход. Слышно было, как замедлился шорох воды об киль. Полная неподвижность. Лишь далекие береговые

огни по правому борту.

В эти последние мгновения, когда отец подхватил девочку на руки, я все оглядывался на стоявшего на мостике Джигса. Я точно знал: это ему решать, что будет дальше.

— Спускайся! — крикнул он.

Но Нимейер не подчинился. Он замер на месте. Посмотрел на море внизу. Девочка никуда не смотрела. джигс продолжал держать узника на прицеле. Раздался выстрел. Он прозвучал будто сигналом — судно дернулось и снова пошло вперед.

Я обернулся, чтобы взглянуть на Нимейера, и тут увидал Эмили. Взгляд ее был прикован к чему-то на дальнем конце палубы. Я тоже глянул туда и как раз успел заметить, как мисс Ласкети бросила что-то в воду. Обернись я секундой позже, помедли, я ничего бы не увидел.

Нимейер замер, будто бы в ожидании боли. Полуметровая цепь, сковывавшая его руки, висела перед ним. Задела ли его пуля? Потом Нимейер посмотрел на Джигса, который стискивал собственное плечо. Видимо, пуля пошла не в ту сторону. Пистолет Джигса ударился о палубу под мостиком и выстрелил в темноту. Теперь кто смотрел на Нимейера с девочкой, кто — на

мостик. Мои же глаза остались прикованы к мисс Ласкети, я заметил, как она мгновенно вновь обрела невинный вид — просто одна из зрительниц. Может, обман зрения? Этот жест — рука, метнувшая нечто в сторону моря, мог не иметь никакого значения. Вот только Эмили тоже за ней следила. Мисс Ласкети могла выбросить очередную недочитанную книгу, а могла — пистолет.

джигс вцепился в раненую руку. Нимейер стоял, покачиваясь, на корме. А потом узник, так и не выпустив из закованных рук девочку, прыгнул в море.

* * *

Эмили, похоже, следила за происходившим, прекрасно понимая, в чем его смысл. Но потом она ничего не сказала. Пока длилась суета, воспоследовавшая за этим неудавшимся побегом, этим прыжком навстречу смерти, Эмили не сказала ни слова. Хотя всю предыдущую неделю она постоянно склонялась к Асунте, чтобы что-то сказать или выслушать, а еще я снова и снова видел кузину в обществе Сунила. Но если Эмили и сыграла в случившемся какую-то роль, она молча ушла со сцены и хранила молчание большую часть наших жизней. Сумел ли я в ту ночь ухватить взглядом нечто лежавшее под

поверхностью событий? Или просто разыгралось мое мальчишеское воображение? Я развернулся, отыскивая Кассия. Пошел ему навстречу, однако он был так потрясен исчезновением девочки, что отшатнулся от меня как от чужого человека. А поначалу-то речь шла о самом что ни на есть незамысловатом сюжете на невеликой канве моей юности, сказал я как-то кому-то. И всех-то главных героев в нем — трое или четверо детишек. Сюжет о путешествии по четкому маршруту, к известной цели — чего тут бояться, какие уж тут неожиданности. Само плаванье я на долгие годы почитай что и забыл.

Кладбище кораблей

Примерно без четверти два я оказался в гавани Хорсшу-Бэй на борту «Королевы Капилано»; когда паром отошел от ванкуверского берега, я поднялся на прогулочную палубу. На мне была теплая куртка, и плевать мне было на яривший ветер — мы погружались в голубоватый ландшафт гористой дельты. Паром был небольшой, тут и там были развешаны всяческие предупреждения, что на борту можно, а что нельзя. Было даже специальное объявление, гласившее, что клоуны на борт не допускаются, — очевидно, несколько месяцев назад с ними приключилось какое-то недоразумение. Паром вышел на фарватер, а я все стоял на палубе во власти ветров, глядя на приближавшийся остров Боуэн. Путешествие оказалось недолгим. Через двадцать минут мы причалили, пассажирам без машин подали трап. Интересно, как Эмили выглядит нынче. Время от времени до меня доходили слухи о ее эскападах — в последние два школьных года она завела в Лондоне каких-то непутевых друзей. Так и оказалось, что мы живем в двух разных мирах, очень

далеких. Последний раз мы виделись, когда она выходила замуж за некоего Десмонда, — я тогда напился на свадебном приеме и быстро ушел.

Спускаясь по выдвижному металлическому трапу, я не видел ни одного знакомого лица. Она не пришла. Я стал ждать — машины одна за другой отъезжали от борта. Прошло пять минут, я зашагал по дороге.

В небольшом парке на другой стороне стояла женщина, она отделилась от ствола дерева, к которому льнула. Я узнал походку, жесты — она оглядчиво подходила ко мне. Эмили улыбнулась:

— Пошли. Машина вон там. Добро пожаловать в наши края. Мне очень нравится это выражение — у нас тут и вправду самый край, дальше некуда.

Она пыталась скрыть смущение. Но разумеется, оба мы очень смущались и не произнесли ни слова, пока шли к ее маленькой машине. Я сообразил, что она, видимо, наблюдала, как я стою на причале, высматриваю ее, — видимо, хотела убедиться, что я именно тот, кого она ждала.

Мы быстро отъехали, пересекли городок; потом она свернула на обочину и выключила зажигание. Наклонилась, поцеловала меня:

— Спасибо, что приехал.

— В час ночи! Ты всегда звонишь в такое время?

— Всегда. Нет. Я весь день пыталась тебя поймать. Обзвонила десяток гостиниц. Очень боялась, что ты сегодня утром уедешь. Ты как, ничего?

— Нормально. Проголодался. Очень удивлен.

— Дома перекусим. Я кое-что приготовила.

Мы проехали по шоссе, потом свернули на узкий проселок, который вел к воде. Спустились с холма, Эмили свернула на дорожку еще уже, именовавшуюся Уонлесс-роуд. По-хорошему, та вообще не заслуживала никакого имени. Стояли там четыре — пять домиков с видом на море — Эмили пристроила машинку рядом с одним из них. Домик казался этаким местом уединения, полностью замкнутым на себя, хотя до ближайшего соседа было всего метров двадцать. Внутри домик показался еще меньше, однако с открытой террасы открывался вид на воду и в бесконечность.

Эмили соорудила бутербродов, откупорила две бутылки с пивом и указала мне на кресло. Сама бухнулась на диван. И мы тут же принялись болтать — про наше раздельное прошлое, про ее жизнь с мужем в Центральной Америке,

потом в Южной Америке. Его работа — инженер-электронщик — не позволяла сидеть на месте, и друзья у них менялись каждые несколько лет. Потом она его бросила. Сказала, что брак их всегда был с долей настороженности и она вышла за дверь, когда поняла: в этом здании слишком холодно, чтобы провести в нем остаток жизни. С их разрыва прошло несколько лет, теперь она могла рассуждать о случившемся спокойно и свысока, набрасывая руками в воздухе очерки их житейских коллизий и мест их жительства. Похоже, моя давняя привязанность к Эмили позволила ей раскрыться. Она очертила передо мной всю свою жизнь. Потом она смолкла, и мы просто смотрели друг на дружку.

Я вспомнил одну подробность из времен свадьбы Эмили. Бракосочетание, как и все бракосочетания тех времен, казалось кульминацией, очевидным шагом к общей цели. Десмонд был хорош собой, Эмили неотразима. В те времена вряд ли нужно было что — то еще для счастливого брака. И все же вот — незадолго до того, как покинуть торжество, я посмотрел на нее. Она стояла, прислонившись к стене, и смотрела на Десмонда. Во взгляде ее была отрешенность, будто бы в тот момент она делала лишь то, чего не делать нель-

зя. А потом, быстро встряхнувшись, вновь обрела праздничное настроение. У кого в памяти отложились те несколько секунд во время торжества? Но я, вспоминая ту свадьбу, каждый раз думал именно про них — что тем самым она спасалась от хаоса, так же как несколько раньше спаслась от бурной непредсказуемости отца, уехав учиться в другую страну. И все же это выражение мелькнуло на ее лице. Как будто она прикидывала, а так ли уж хорош некий предмет, который она только что купила или получила в подарок.

И вот я смотрел на Эмили, на недолговечного деспота красоты времен моей юности. Хотя я знал ее и другой — осмотрительной тихоней, пусть даже иногда и дающей волю духу авантюризма. А в ее рассказах о превратностях семейной жизни и эпизодических романах я видел знакомый образ своей кузины, той, с которой плыл на «Оронсее».

Стала ли она той, кем стала, благодаря нашему плаванию? Этого я не знал. И никогда не узнаю, как сильно изменило ее это плавание. Я просто призадумался над этим в тот день, в маленьком островном домике, где Эмили, судя по всему, жила одна, будто скрываясь от мира.

— А помнишь, как мы тогда плыли на «Оронсее»? — спросил я ее наконец.

Раньше мы никогда не говорили о том путешествии. Я пришел к выводу, что она погребла в глубинах памяти или искренне стерла тот вечер у шлюпок. По моим наблюдениям, для Эмили это плаванье было лишь трехнедельной прелюдией к интересной жизни в Англии. Судя по внешним проявлениям, оно значило для нее до странности мало.

— Да, конечно! — воскликнула она, будто ей вдруг напомнили имя, которое и без того полагалось бы помнить. А потом добавила: — Ты был тогда, помнится, просто *якка*, настоящий демон.

— Просто я был маленьким, — возразил я.

Она задумчиво прищурилась, потом рассмеялась чему-то своему. Я видел, что она медленно подступается к своей памяти, всматривается в какие-то эпизоды.

— Помню, от тебя были сплошные неприятности. У Флавии не было ни минуты покоя. Боже, эта Флавия Принс! Интересно, жива ли она еще…

— Вроде бы она живет в Германии, — откликнулся я.

— А-а-а… — протянула Эмили.

Она все глубже погружалась в себя.

Мы просидели в обшитой сосновыми досками гостиной до темноты. Время от времени она

как загипнотизированная следила за паромами, сновавшими между бухтой Снаг и гаванью Хорсшу-Бэй. В середине пролива они издавали долгий стон. Они превратились в единственные точки света в серо-синей тьме. Она сказала: если проснуться в шесть, увидишь, как рассветный паром скользит вдоль горизонта. Я понял, что у Эмили тут сложился свой мир, ландшафт ее дней, вечеров и ночей.

— Пошли прогуляемся.

Мы вышли из дому и зашагали вверх по крутой дороге, по который приехали несколькими часами раньше; из-под ног разлетались листья.

— А как ты здесь оказалась? Ты так и не рассказала. Давно переехала в Канаду?

— Года три назад. После развода приехала сюда и купила этот домик.

— Ты не думала со мной связаться?

— Ну, Майкл, твой мир… мой мир…

— Ну, вот сейчас же мы встретились.

— Да.

— Так ты живешь одна…

— Ты всегда был страшно любопытным. Ну да, я встречаюсь с одним человеком. Что тут сказать… жизнь у него была нелегкая.

Эмили всегда окружали ненадежные, непри-

каянные люди. Это ее свойство имело долгую предысторию. Я вспомнил о тех временах, когда она приехала в Англию и поступила в женскую школу-пансион в Челтнеме. Мы время от времени встречались на каникулах — она еще не выпала из лондонского цейлонского землячества, но рядом с ней всегда ошивался какой-нибудь друг сердца. В ее новых приятелях чувствовался дух анархии. А однажды в воскресенье, в последний свой учебный год, она выскользнула за школьную ограду, забралась на чей-то мотоцикл, и они с ревом умчались на просторы Глостершира. Попали в аварию, Эмили сломала руку, в результате из школы ее исключили. После чего она перестала считаться надежным членом нашего тесного азиатского братства. А затем и вовсе порвала с ним, выйдя за Десмонда. Свадьбу сыграли стремительно. Он получил работу где-то за границей, откладывать было нельзя, скоро они уехали. А потом, после развода, она выбрала этот тихий островок на западном побережье Канады.

Все это как-то не походило на настоящую жизнь, которую мы с ней воображали себе в молодости. Я все еще помнил, как мы мчимся на велосипедах под хлесткими струями муссона, как Эмили сидит скрестив ноги на кровати, расска-

зывая о своей индийской школе, как мы танцуем вместе и как ее тонкие смуглые руки колеблются. Я вспоминал об этом, шагая с ней рядом.

— Ты надолго сюда, на запад?

— До завтра, — ответил я. — Потом улетаю.

— Да? А куда?

Я смутился:

— На самом деле в Гонолулу.

— Го-но-лу-лу! — протянула она презрительно.

— Уж извини.

— Да ладно. Ладно. Спасибо, что приехал, Майкл.

Я ответил:

— Ты мне однажды очень помогла. Помнишь?

Кузина ничего не сказала. Либо она вспомнила то утро в ее каюте, либо нет. В любом случае она промолчала, а я не стал допытываться.

— Я могу тебе чем-то помочь? — спросил я, и она посмотрела на меня с улыбкой, которая подтверждала, что не такой жизни она ждала, не такую бы выбрала.

— Ничем, Майкл. Даже с твоей помощью мне всего этого не понять. Твоей любви мало, чтобы дать мне покой.

Мы пригнулись, проходя под ветвями кедра, вернулись на деревянное крылечко, вошли

сквозь зеленую дверь в домик. Оба устали, но засыпать было жалко. Вышли на открытую террасу.

— Без паромов я бы вовсе запуталась. Время перестало бы существовать…

Она помолчала.

— Ты ведь знаешь, он умер.

— Кто?

— Мой отец.

— Извини, я не знал.

— Мне просто необходимо рассказать кому-то, кто его знал… знал, каким он был. Меня ждали на похороны. Но я там давно стала чужой. Как и ты.

— Мы повсюду чужие.

— Ты его хоть немного помнишь.

— Да. Угодить ему было невозможно. Помню его буйный нрав. Но он любил тебя.

— Из-за него я все детство провела в страхе. Знаешь, когда я его последний раз видела? Когда я подростком уехала…

— Я помню твои кошмары.

Она отвернулась, будто хотела передумать это еще раз. Отворачивалась от темы, но я не хотел отпускать ее из прошлого. И попытался завести разговор о нашем путешествии, о том, что случилось в конце.

— Тогда, на «Оронсее», ты чувствовала, что чем — то похожа на эту девочку, с которой сдружилась? На дочку узника. Она тоже оказалась под властью своего отца.

— Наверное. Но скорее, я просто хотела ей помочь. Ты же понимаешь.

— В ту ночь, у шлюпок, когда ты встречалась с этим тайным агентом, Перерой, я слышал ваш разговор. Я все слышал.

— Вот как? А почему ты мне ничего не сказал?

— Сказал. Я пришел к тебе на следующее утро. Ты ничего не помнила. Проваливалась в сон, точно тебя опоили.

— Я должна была попытаться забрать у него одну вещь… для них. Но мне страшно хотелось спать.

— Его в ту ночь убили. У тебя был нож?

Она молчала.

— Больше там никого не было.

Мы стояли совсем рядом, плотно запахнув пальто. В темноте я слышал, как волны разбиваются о берег.

— Нож был, — сказала она. — Там были его дочь Асунта и Сунил. Они меня страховали…

— Значит, нож был у них. Они тебе его передали?

— Не знаю. В том-то и дело. Я не могу точно сказать, что там произошло. Ужасно, да?

Она вздернула подбородок.

Я ждал, пока она продолжит.

— Холодно, — сказала она. — Пошли в дом.

Но когда мы оказались внутри, Эмили не спешила продолжать.

— Что ты должна была у него забрать? У Переры?

Она встала с дивана, подошла к холодильнику, открыла его, постояла, вернулась с пустыми руками.

— Насколько я знаю, на судне было только два ключа от наручников Нимейера. Один был у этого англичанина Джигса. У Переры был второй. Сунил заподозрил, что один из моих поклонников и есть Перера, и попросил выманить его к шлюпкам. Сунил тогда уже понял, что ради него я готова на все. Повязал меня своими чарами. Меня использовали как приманку.

— И кто это был? Никто же не знал, кто именно этот тайный агент.

— Человек, который ни с кем никогда не разговаривал. Портной, сидевший за вашим «кошкиным столом», Гунесекера.

— Но он же не говорил. Не мог говорить. А тот,

у шлюпки, с тобой общался…

— Сунил как-то выяснил, что он и есть тайный агент. Застал его за разговором с английским офицером. Так что прекрасно он умел говорить.

«Я думала, что нужно спасать тебя, — написала в том письме мисс Ласкети. — Но однажды увидела Эмили в обществе этого типа из труппы „Джанкла“. Их отношения показались мне опасными, чреватыми бедой».

Фрагменты, остававшиеся несвязными долгие годы, утраченные обрывки сюжетов — смысл их внезапно проясняется, если увидеть их в ином свете и в ином месте. Я вспомнил рассказы мистера Невила о том, как на кладбище кораблей судно разделяют на части, чтобы дать каждой новую жизнь, придать новый смысл. И вот я уже не был с Эмили на острове Боуэн. Я погрузился в прошлое, пытаясь вспомнить тот день, когда кузина моя строила вместе с Сунилом живую пирамиду, когда он надел ей на руку браслет и расцарапал кожу. А еще я вспомнил молчаливого человечка с шарфом на шее — человечка, которого мы принимали за портного: ведь в последние дни пути он больше не показывался за «кошкиным столом».

— Знаешь, что я запомнил про мистера Гунесекеру? — спросил я. — Я запомнил его доброту.

В тот день, когда ты подошла к нашему столу и у тебя был синяк под глазом — ты сказала, что тебя ударили бадминтонной ракеткой. Он потянулся потрогать. Наверное, он вообразил, что тебя избили, что никакая это была не случайность, что кто-то, возможно Сунил, заставил тебя что-то сделать. Ты, наверное, считала, что мистер Гунесекера к тебе клеится, на деле же он просто волновался за тебя.

— В тот вечер, у шлюпок… я уже и не помню… он набросился на меня, схватил за руку. Мне было страшно. Тут появились Сунил и Асунта… Хватит. Майкл, прошу тебя, давай прекратим. Ладно?

— Он на тебя не бросался. Он хотел дотянуться до твоего запястья, рассмотреть его. Он ведь тоже видел, как Сунил надел тебе этот браслет после построения пирамиды, как расцарапал кожу, а потом что-то втер в ранку. В тот вечер он как раз пытался тебя защитить. Но его убили.

Эмили не произнесла ни слова.

— На следующее утро я никак не мог тебя разбудить, тряс, а ты сказала, что вроде как отравилась. Наверное, они что-то сорвали в саду у мистера Дэниелса, чтобы у тебя все в голове смешалось. Чтобы ты ничего не вспомнила. У него же там росли ядовитые растения.

— В этом прекрасном саду?

Эмили разглядывала свои руки. Потом вдруг распрямилась и взглянула на меня, будто бы все, во что она верила, на чем стояла долгие годы, оказалось ложью.

— Я все эти годы думала, что это я убила Перу, — произнесла она тихо. — Может, и убила.

— Даже мы с Кассием считали, что это ты, — ответил я. — Мы видели его тело. Но я все-таки думаю, это не ты.

Она наклонилась, не вставая, и закрыла лицо руками. Посидела недолго. Я молча смотрел на нее.

— Спасибо.

— Ты помогла им осуществить их план. И в результате Нимейер с дочерью погибли.

— Наверное.

— В каком смысле «наверное»?

— Да так — наверное.

Меня внезапно разобрала злость:

— У Асунты была вся жизнь впереди. Она была еще маленькой.

— Ей было семнадцать. И мне тоже. Все мы повзрослели, еще не став взрослыми. Ты когда-нибудь про это думал?

— Она даже не вскрикнула.

— Она не могла. У нее был ключ во рту. Туда она его и спрятала, когда мы забрали его у Переры. Именно ключ и был необходим для побега.

Я проснулся на диване, занавесок в гостиной не было, и ее заливал свет. Эмили сидела в единственном кресле и смотрела на меня, будто бы выверяя, кем же я стал по прошествии стольких лет, а возможно, корректируя давние представления о непослушном мальчишке, который прожил с ней рядом часть своего детства. Накануне она в какой-то момент поведала, что читала мои книги и при чтении все время пыталась сопоставить одно с другим — вымышленный эпизод с реальной историей, случившейся в ее присутствии, или с эпизодом в саду, который явно был садом моего дяди у Хай-Левел — роуд. За протекшее время мы оба поменяли свои места. Она перестала быть предметом безотчетного обожания. Я больше не сидел за «кошкиным столом». Но лицо Эмили для меня так и осталось недосягаемым.

Какой-то писатель, не помню кто, сказал про одного персонажа, что тот наделен «смутительной грацией». Именно такой для меня всегда и была Эмили — с ее теплотой всегда соседствовала неуверенность. Ей можно было верить, а сама она себе не верила. Она была «хорошей», но только

не в собственных глазах. И качества эти так и не сумели уравновеситься, достичь гармонии.

Она сидела — волосы забраны в узел, — обхватив руками колени. Лицо в утреннем свете было красиво какой-то новой, более человечной красотой. Что я хочу этим сказать? Видимо, то, что теперь мне были внятны все подробности ее красоты. Эмили стала непринужденнее, в лице отчетливее отражалась ее суть. Я понял, как именно темные черточки ее души запрятаны в складках внутренней щедрости. Они не перечеркивали нашей близости. До меня дошло: именно ее, Эмили, я никак не мог отпустить от себя большую часть своей жизни, несмотря на исчезновения и разлуки.

— Тебе пора на паром, — сказала она.

— Да.

— Теперь ты знаешь, где я живу. Приезжай в гости.

— Приеду.

Ключ у него во рту

Эмили отвезла меня на причал, я взошел на паром вместе с другими пассажирами. Она попрощалась в машине, а выходить не стала, хотя машина осталась на месте и она, видимо, следила за мной сквозь блестящее ветровое стекло, — тот же блеск скрывал ее от меня. Я поднялся по двум трапам на верхнюю палубу и посмотрел назад, на остров, — домики, рассыпанные по склону холма, а возле причала красная машина и внутри — она. Паром дернулся, мы отчалили. Было холодно, но я остался на верхней палубе. Двадцатиминутное плаванье, прозвучавшее как эхо, как стишок, долетевший из прошлого, — таким же эхом была для меня последние день и ночь моя кузина Эмили.

У меня когда-то был друг, сердце которого «сдвинулось» после того, как он получил душевную травму и отказался это признавать. Только через несколько лет, на осмотре у врача по поводу какого-то другого недомогания, и был обнаружен этот физический нюанс. Когда он рассказал мне про это, я призадумался: а ведь, наверное, у многих

из нас есть этот сердечный сдвиг, иной наклон, миллиметр или даже меньше от изначального положения, неведомое нам перемещение. У Эмили. У меня. Наверное, даже у Кассия. Как так вышло, что с тех самых пор чувства наши как бы смотрят под углом, вместо того чтобы глядеть окружающим в лицо, а результат — полная отстраненность, в некоторых случаях просто хладнокровная самодостаточность, губительная для нас самих? Не из-за этого ли мы, ничего до конца не поняв, так и остались сидеть за «кошкиным столом», все оглядываясь и оглядываясь назад, выискивая даже теперь, в почтенном возрасте, тех, с кем мы тогда путешествовали, кто сформировал нас нынешних?

А потом я впервые за много лет подумал про капризное трепетное сердце Рамадина, от которого он как раз не отстранялся, о котором постоянно пекся во время плаванья — вел себя так, будто сидит в инкубаторе, пока мы с Кассием носились вокруг, веселые и опасные. Столько времени прошло с того путешествия и с тех наших общих дней на Милл — Хилл. Но ведь именно Рамадин, самый осмотрительный, как раз и не выжил. Так что же было лучше для всех нас — неведение или бережное отношение к собственным сердцам?

Я все стоял на верхней палубе парома, глядя с кормы на зеленый остров. Воображая, как Эмили едет по петлистой дорожке к своему новому дому, который так далек от места, где она родилась. Крошечный домик на прохладном берегу, который она время от времени делит с мужчиной. После стольких лет странствий она прибилась к иному острову. Вот только остров может стать не только укрытием, но и узилищем. Как она сказала: «Твоей любви мало, чтобы дать мне покой».

И вот тогда, под этим ракурсом, из этой холодной перспективы, я вдруг вообразил себе их — Нимейера и его дочь: как они кружатся в темной воде, пытаясь высвободиться, этот все еще опасный, непрощенный человек, и он останется таким навсегда: Магвич[16] и его дочь — они борются с потоком, который, шумя, несется мимо, еще нагнетаемый винтами судна, которое покинуло их в этом месте. Они не видят друг друга, он едва осязает ее в пальцах, так в воде холодно. И дыхание… Издержав отпущенное время, они выныривают в темный воздух и втягивают в себя все, что можно, задыхаясь, ловят воздух. Ему нужно одно — не отпускать ее пока, эту свою

[16] Примечания: 16

Абель Магвич — персонаж романа Ч. Диккенса «Большие надежды» (1861).

дочь, которую он совсем не видит, почти не ощущает онемевшими пальцами. Но теперь они, по крайней мере, на воздухе, на поверхности, на кожном покрове Средиземного моря: проблеск луны, проблеск света на далеком берегу.

Нимейер берет ее лицо в закованные руки, так же как тогда, в последнюю секунду на палубе, перед самым прыжком. Прижимает губы к ее губам, она раскрывает их и языком впихивает ключ, который сжимала зубами, ему в рот, ему на хранение. Им трудно удерживаться рядом, тела швыряет в разные стороны, в огромном этом море ключ слишком мал, слишком хрупок, чтобы передавать его рукой. Да и течения слишком сильны, всё грозят растащить их в стороны — так что уж лучше он сам заберет ключ у нее изо рта и попытается отомкнуть замок. И вот он выпускает девочку, отделяется от поверхности и уходит под воду вместе с ключом, теперь у него одна цель — разомкнуть оковы на запястьях, — а пальцы уже почти совсем онемели. Настал тот миг, когда он либо останется узником навеки, либо нет.

Ей говорили — не нужно его ждать. Она и так достаточно жертвовала собой. Если отец сумеет освободиться, он поплывет следом и отыщет ее, где бы она ни была. Вокруг них — кольцо

исторических портов. В конце концов, это же внутреннее море, открытое и обжитое много веков назад, когда корабли еще ориентировались по звездам, а при свете дня — по храмам, выстроенным на высоких мысах. Пирей, Констанца, Карфаген, Куакас. Прибрежные города — государства Эгейского моря, когда-то служившие вратами племенам, что являлись прямиком из пустыни или выплывали на берег, когда корабли их терпели крушение во время бури. Асунта плывет прочь. Она много недель изображала страх перед водой. А теперь долго сдерживаемая сила юности толкает ее вперед. Она правит к земле, не важно какой, той, что даст убежище, пока ее не найдут. Так что плывет она куда-нибудь — к одному из древних городов, обязанных своим рождением дельте или предсказуемому приливу, к новой жизни. И мы можем поступить так же, когда сойдем на берег.

Нимейер снова выныривает, чтобы вздохнуть, и в темноте, несмотря на ночной бриз, слышит, в каком она движется направлении. Видит «Оронсей», сверкающий, будто продолговатая брошь, он уже далеко и уходит к Гибралтару. А потом он вновь уходит под воду, так пока и не освободившись от замка, — его крошечное устьице так

трудно нашарить ключом в темной воде, под грохот и вой винтов удаляющегося лайнера.

Письмо Кассию

Большую часть жизни я был убежден: я не могу дать Кассию ничего, что будет ему хоть чем-то полезно. И все эти годы даже не задумывался всерьез о том, чтобы с ним связаться. Главное, что было в наших отношениях, прошло полный круг за три недели плаванья. Ничто (кроме разве поверхностного любопытства) не толкало меня узнать его ближе. Вопросов к Кассию не осталось — по крайней мере, у меня. Я уже тогда знал, что он станет самодостаточным существом, никому ничего не будет должен. Его единственным направленным вовне жестом — за исключением наших приятельских отношений, носивших явно временный характер, — было участие по отношению к девочке. А когда Асунта исчезла в волнах, я увидел, как мой друг, будто бы опаленный недетской правдой, еще глубже ушел в себя.

Художник с опаленными руками. Какова была после этого его жизнь? Видимо, в поздние годы отрочества он ни на кого не полагался и ни во что не верил. Взрослые переносят это довольно легко — ведь они способны жить самостоятельно.

Кассий же, подозреваю, в ту ночь на судне утратил причитавшиеся ему остатки детства. Помню, как он бесконечно долго стоял там, уже не рядом с нами, и обшаривал взглядом темно-синюю, сияющую внутренним светом воду.

Я знаю, что, не одари меня Рамадин тогда своей спокойной добротой, я бы теперь и не подумал о том, чтобы вновь приблизиться к Кассию. Он стал этаким воинствующим художником. Язвительность вошла у него в привычку. Но это не имеет значения. Когда — то он был двенадцатилетним мальчишкой, который с детской сострадательностью бросился на защиту слабого. Несмотря на анархию, чуть ли не въевшуюся ему в плоть, он хотел допустить к сердцу эту девочку. Странно. Он хотел защитить дочку Нимейера, как Рамадин хотел защитить Хезер Кейв. Почему все мы трое чувствовали потребность защищать тех, кто казался еще беззащитнее, чем мы сами?

Поначалу я думал, что если дам книге какое — нибудь заглавие вроде «Путешествие Майны», он услышит меня, где бы ни находился. Ведь он даже не знает моего подлинного имени. Если уж мое прозвище позволило мне достучаться до мисс Ласкети в ее нынешнем обиталище, может, я достучусь и до него. Не знаю, читает он книги

или презирает это занятие. В любом случае это повествование написано для него. Для другого друга моей юности.

Прибытие

Мы проскользнули в Англию под покровом тьмы.

Проведя столько времени в море, мы пропустили момент прибытия. Лишь лоцманский катер, мигая синим светом, встретил нас у входа в дельту и провел вдоль темной неведомой береговой линии в Темзу.

Внезапно запахло землей. Когда рассвет наконец озарил то, что нас окружало, окружение оказалось неброским. Никаких зеленых берегов, знаменитых городов или огромных мостов, которые возносили бы вверх дуги пролетов, давая нам путь. Мы проходили мимо останков былой индустриальной эпохи — баржи, низины, входы в заросшие каналы… Мы проходили мимо танкеров и буев. Мы выискивали взглядом геральдические руины, о которых нам поведали за много тысяч миль отсюда, на уроках истории в Коломбо. Мы увидели какой-то шпиль. А потом оказались среди калейдоскопа названий: Саут-Энд, Чепмен-Сэндс, Блайт-Сэндс, Лоуэр-Хоуп, Шорнмид.

Судно дало четыре коротких гудка, потом пауза, потом еще один, и мы начали аккуратно швартоваться у причала в Тилбери. «Оронсей», долгие недели окружавший нас своим порядком, готовился к отдыху. Выше по течению, там, где Темза глубже врезалась в сушу, лежали Гринвич, Ричмонд и Хенли. Но мы остановились, двигатели завершили свой труд.

Едва коснувшись ногой трапа, я потерял Кассия и Рамадина из виду. Всего несколько секунд — и мы разлучились, утратили друг друга. Не было ни последнего взгляда, ни даже понимания, что происходит. Столько дней средь морских просторов — а тут мы не смогли отыскать друг друга в крошечном некрашеном здании терминала на Темзе. Каждый сам по себе, мы тревожно пробирались сквозь толпу, плохо представляя, куда направляемся.

За несколько часов до того я достал и надел первые свои настоящие брюки. Натянул носки, которые заполнили башмаки до отказа. Так что по широкому трапу, ведшему на причал, я спускался довольно неуклюже. Пытался понять, кто из встречающих — моя мама. В памяти у меня не осталось надежного отпечатка ее облика. Была у меня одна фотография, но она лежала на дне

чемоданчика.

Только теперь я пытаюсь увидеть то утро в Тилбери глазами своей мамы: она высматривает сына, которого оставила в Коломбо пять лет назад, пытается представить, каким же он стал, — наверное, ей прислали недавний черно-белый снимок, чтобы легче было вычленить нужного одиннадцатилетнего мальчишку из толпы пассажиров, сходивших с трапа. То, видимо, был миг упования и ужаса, переломный момент. Как я поведу себя с ней? Мальчик вежливый, но сдержанный — или изголодавшийся по ласке? Кажется, лучше всего я вижу себя через призму ее глаз и ее надежд — вот она обшаривает взглядом толпу, как и я, и оба мы не знаем, чего искать, будто другой столь же случаен, как наугад выбранный номер, но при этом с ним предстоит сосуществовать следующие десять лет, может даже всю жизнь.

— Майкл?

Я услышал это «Майкл» — голос явно боялся ошибиться. Обернулся и не увидел ни одного знакомого лица. Какая-то женщина положила мне руку на плечо и произнесла: «Майкл». Ощупала мою хлопковую рубашку и сказала: «Майкл, тебе, наверное, холодно». Помню, она раз за разом

произносила мое имя. Поначалу я смотрел только на ее руки, платье, а потом увидел лицо и понял: это ее лицо.

Я поставил чемодан и обнял ее. Да, мне действительно было холодно. До того момента я тревожился лишь об одном — как бы не потеряться навеки. А теперь, после этих ее слов, мне стало холодно. Я обнял ее, руки коснулись ее широкой спины. Она чуть отодвинулась, взглянула на меня, улыбаясь, потом снова подалась вперед, чтобы прижать меня покрепче. Мне видна была часть мира сбоку от нее — мимо проносились какие-то силуэты, едва замечая меня в маминых объятиях, а рядом со мной стоял чемоданчик со всем моим имуществом.

А потом я увидел, что мимо шествует Эмили в белом платье; замедлив шаг, она повернула голову и оглянулась на меня. И на миг все будто бы остановилось и двинулось вспять. Ее лицо послало мне вкрадчивую улыбку. Она сделала несколько шагов назад и положила ладони, свои теплые ладони, поверх моих, лежавших на маминой спине. Нежное касание, потом нажим покрепче, будто некий знак. А потом она исчезла.

Мне почудилось, будто она что-то сказала.

— Что сказала Эмили? — спросил я у мамы.

— Наверное, что пора в школу.

Эмили махнула издалека — прежде чем исчезнуть на просторах мира.

Примечание автора

Несмотря на то что окраской и топографией «Кошкин стол» напоминает мемуары или автобиографию, он является вымыслом — от капитана, команды и пассажиров судна до рассказчика. Судно под названием «Оронсей» действительно существовало (собственно, таковых было несколько), однако лайнер, описанный в романе, является плодом воображения.

Источники цитат

В тексте процитированы строфа из стихотворения Роберта Крили «Эхо», строчка из стихотворения Киплинга «Море и горы»; стих А. Герберта; отрывок из «Юности» Джозефа Конрада, фрагмент из Р. Нараяна, строка из Беккета про отчаяние. Цитата из Пруста взята из письма к Рене Блуму, 1913 год. В текст вошли строки из «Блюза победивших» Джелли Ролла Мортона, включенного в книгу Алана Ломакса «Мистер Джелли Ролл» (1950). Также цитируются или упоминаются песни Джонни Мерсера, Хоаги Кармайкла, Сидни Беше и Джимми Нуна. Сведения о Сидни Беше взяты из прекрасной книги Уитни Бэльета «Американские музыканты — 2» (в том числе цитата из Ричарда Хэдлока, впервые опубликованная в «Сан-Франциско экземинер»). Я признателен «Дейли ныоз» со Шри-Ланки, откуда я взял канву истории «сэра Гектора», основанную на одном давнем происшествии. При этом персонажи, имена и диалоги являются плодом вымысла, — в частности, это автор поместил сэра Гектора на океанский лайнер. Материал о триремах взят из «Властелинов мо-

рей» Джона Хейла. Две строки (процитированные ниже) про посадку на судно «Дочь оптимиста» написаны Юдорой Уэлти. «Хорошая книга» мистера Мазаппы — это «Мальтийский сокол» Дэшиела Хэммета. Строки в гостевой книге на выставке картин Кассия нацарапаны его другом Уорреном Зивоном, заглянувшим туда из Нью-Джерси.

Благодарности

Я признателен Ларри Шокмену, Сьюзи Шлезингер, Эллин Тоскано, Бобу Рейси, Лоре Ферри, Симону Бофуа, Анне Лейб, Дункану Кенворту, Беатрис Монти, Рику Саймону, «Коач хаус пресс», «Джет фюел» из Торонто, библиотеке Бэнкрофта в Беркли, штат Калифорния.

А также Джону Бергеру, Линде Сполдинг, Эсте Сполдинг, Гриффину Ондатже, Дэвиду Янгу, Гиллиан и Алвину Рэтнаяки, Эрнесту Макинтайру, ссудившему мне одного персонажа, Анджалендрану, Апарне Халпе и Санджае Виджаякун. Еще Стюарту Блэклеру и Джереми Боттлу, а также Дэвиду Томсону, который помог мне несколько лет спустя. Кроме того, Джойс Маршал, которая однажды скурила плетеное кресло.

Спасибо, Эллен Левайн, Стивен Барклай, Тулен Валери, Анна Жарден, Меган Стримус, Жаклин Рейд и Келли Хилл. Спасибо всем сотрудникам американского «Кнопф» — Кэтрин Хуриган, Диане Кольянезе, Лидии Бюхлер, Кэрол Карсон и Пей-Лой — Коай. Огромное спасибо вам, Луиза Деннис, Сони Мета и Робин Робертсон. Отдельное

спасибо моему канадскому редактору и издателю Эллен Селигман.

Стелле, милой охотнице, — больше не будет бурь.

Деннису Фонсеке, *in memoriam.*

* * *

Судно выплыло из тумана, они шагнули на трап. Все новое в нашей жизни начинается именно так…